

Михаил ЗАГОСКИН

БРЫНСКИЙ ЛЕС



Михаил Загоскин

Брынский лес

«ВЕЧЕ»

1846

Загоскин М. Н.

Брынский лес / М. Н. Загоскин — «ВЕЧЕ», 1846

Роман «Брынский лес» русского писателя и драматурга Михаила Николаевича Загоскина (1789–1852) раскрывает один из эпизодов начала царствования великого самодержца, юного Петра I. Это увлекательное повествование об опасных и забавных приключениях молодого стрельца Левшина, искреннего сторонника будущего переродителя России. Современники автора ставили этот роман даже выше его широко известного «Юрия Милославского».

© Загоскин М. Н., 1846

© ВЕЧЕ, 1846

Содержание

Часть первая	6
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Михаил Загоскин

Брынский лес

© ООО «Издательство «Вече», 2015

* * *

Часть первая

I

Под самодержавным и кротким правлением двух первых царей из рода Романовых отечество наше начинало уже забывать все прошедшие свои страдания. Как торжествующий победитель, едва не погибший в борьбе с сильным врагом, смотрит с гордостью, но также и с невольным трепетом на свою грудь, покрытую исцелевшими ранами, так точно и святая Русь, с внутренним сознанием своей силы, но вместе и с ужасом, вспоминала о бедствиях, претерпенных ею во времена междуцарствия. В последние тридцать лет, благодаря твердому и мудрому правлению царя Алексея Михайловича, Россия отдохнула и стала по-прежнему царством сильным, богатым и самобытным; почти везде изгладились кровавые следы ее врагов, внешних и внутренних, и одно только изуственное предание напоминало русским о нашествии иноплеменных, о грабежах буйных полчищ Трубецкого, о разорении Москвы, о постыдных предательствах, изменах, – и, может быть, скоро все эти казни Божии, эти самозванцы, поляки, междоусобия и крамолы стали бы им казаться каким-то смутным, тяжким сном, если б вместе с кончиной царя Федора Алексеевича не возник снова этот дух мятежа и безначалия, от которых нередко гибнут целые народы и сильные царства становятся добычею слабых своих соседей.

От царствующего рода оставалось только два сына царя Алексея Михайловича: от первого брака царевич Иоанн, от второго Петр, – первый, едва вышедший из детства, второй еще дитя. Рожденная от первого брака старшая их сестра, царевна Софья Алексеевна, была одна из прекраснейших женщин своего времени, одаренная умом и способностями, истинно необычайными, но в то же время властолюбивая, хитрая и готовая пожертвовать всем для достижения своей цели. Царевич Иоанн, юноша кроткий и благообразный, но слабый здоровьем, отказался добровольно от своего наследственного права, и десятилетний Петр был единогласно провозглашен царем русским. Это единодержавное правление продолжалось только три недели. Царевна Софья, при помощи родственника своего, боярина Милославского, и других приверженных ей вельмож, склонила на свою сторону московских стрельцов. Они взбунтовались, побросали с высоких каланчей своих съезжих изб полковников, которые старались удержать их от мятежа, перерезали главных своих начальников, князей Долгоруких – отца и сына, умертвили родственников Петра, бояр Нарышкиных, князя Черкасского, двух князей Ромодановских, только что возвратившегося из ссылки знаменитого Артамона Сергеевича Матвеева, многих других бояр и сановников – и потом силою возвели на престол, в соцарствование Петру, брата его, царевича Иоанна, а сестру их, Софью, объявили соправительницею – или, верней сказать, правительницею царства Русского, потому что сначала выходили указы за подписью ее и обоих царей, а впоследствии подписывала их одна Софья Алексеевна. Но этого было мало для властолюбивой царевны; она предвидела, что власть ее недолго продлится. Десятилетний Петр не походил на обыкновенных детей; на его юном и прекрасном челе лежала печать помазанника Божия. Избранник небес, переродитель России, он и в детских годах удивлял всех своим умом, твердостью и бесстрашием. Все его ребяческие забавы, все детские потехи имели высокую, бессмертную цель, которую, может быть, отгадывала одна Софья. Еще несколько лет, и это порфирородное дитя будет самодержавным, мощным царем, с которым всякая борьба сделается невозможною. Следствием этого предвидения были беспрестанные мятежи, возмущения стрельцов и заговоры, всегда клонившиеся к тому, чтобы погубить державного отрока Петра, который был не под силу Софье Алексеевне, несмотря на то что ее называли премудрою.

Прежде чем я приступлю к моему рассказу, мне должно познакомить читателей с тогдашним единственным в Москве сборным местом, или, если хотите, гуляньем всех праздных людей, зевак, вестовщиков – охотников до новостей, разных промышленников, а иногда и людей, имеющих важные замыслы. Это гулянье, или, лучше сказать, сходбище, на котором, по словам иностранных писателей, народ толпился каждый день с утра до вечера, это сборное место, напоминающее Римский форум, называлось, и теперь называется, Красной площадью; только нынешняя во многом не походит на прежнюю. Покровский собор, то есть церковь Василия Блаженного, Лобное место и Спасские ворота – вот все, что осталось в прежнем виде. Вместо нынешних красивых и легких Никольских ворот возвышалась тяжелая четырехугольная башня с небольшой вышкой и воротами, которые также назывались Никольскими. Кремль отделялся от Красной площади не так, как теперь, одной высокой стеною, – их было три, одна другой выше; над зубцами внутренней, то есть самой высокой стены, была деревянная крыша, точно такая же, как теперь над оградой Троице-Сергиевской лавры. Выше кремлевских стен блестели, как и теперь, главы соборов, монастырских церквей и сиял в вышине золотой крест Ивана Великого. Направо, к Никольским воротам, за стеною Кремля виднелась кровля дома боярина Бориса Михайловича Лыкова; налево, к собору Василия Блаженного, высоко подымались огромные хоромы ближних бояр, Ивана Васильевича Морозова и князя Якова Куденетовича Черкасского. У Иверских ворот, которые тогда назывались Каретными и Воскресенскими, существовала уже часовня Иверской Божией Матери, разумеется не теперешняя, а построенная в 1666 году по указу царя Алексея Михайловича; нынешняя существует с небольшим пятьдесят лет. Тогдашние ряды или гостиный двор был кирпичный с деревянными пристройками; он разделялся на четыре двора: старый, новый, соляной и рыбный; в первых двух были ряды и амбары, в последних отдельные лавочки, шалаши, балаганы и палатки. Лучшие ряды были: панский, суровский, фряжский и веницкий. Кругом Лобного места и по всей Красной площади разбросаны были также лавочки, шалаши и балаганы, в которых торговали шапками, рукавицами, всяким мелочным товаром и съестными припасами. Вблизи от Лобного места стояло невысокое каменное здание, на плоской кровле которого лежали две огромные медные пушки, – это был дом Земского приказа, или полиции. Из двух улиц, выходящих на Красную площадь, нынешняя Ильинка была замечательна тем, что на ней под открытым небом происходило то, что в наше время делается обыкновенно по домам или в особенно заведенных для того комнатах. На этой улице стригли волосы, и, вероятно, посетители этих воздушных *salon pour la coupe des cheveux* были очень многочисленны. Олеарий, живший в Москве при царе Михаиле Феодоровиче, говорит, что на этой улице всегда лежали на земле остриженные волосы такими толстыми и густыми слоями, что проходящим казалось, будто бы они ходят по тюфякам.

В 1682 году, вскоре после первого Стрелецкого бунта, в ясный летний вечер, на Красной площади, на которой, по обыкновению, толпился народ, один молодой человек стоял, прислонясь к наружной стене Лобного места. Это был видный и прекрасный собою мужчина; его темно-голубым глазам с черными ресницами, румяным щекам и мягким шелковистым кудрям позавидовала бы любая московская красавица; по его одежде нетрудно было отгадать, что он принадлежит к числу младших начальников стрелецкого войска. Этот молодой человек смотрел задумчиво и с приметной грустью на рабочих людей, которые спешили окончить кирпичный, довольно высокий столб, сооружаемый на самой середине площади; по временам он бросал также исполненный презрения взгляд на отвратительную толпу продавцов, которые почти все были стрельцы. Они явно и без всякого опасения продавали вещи, награбленные ими во время мятежа. Их буйные и дерзкие речи, наглость, с какой они зазывали, или, лучше сказать, тащили к себе покупателей, обидные насмешки, которым подвергались все мирные граждане, не желавшие покупать добытый разбоем товар, угрозы и ругательства, которыми эти вооруженные торгаши осыпали бедных купцов, торгующих с ними на одной площади, – все изобличало этот буйный разгул ослепленных удачей мятежников; они беспечно предавались

своей неистовой радости и веселью, а меж тем над их преступными головами собиралась Божия гроза. Никто из них не помышлял о страшном дне отмщения, а этот день был уже близко.

– Что ты, горе-богатырь, так призадумался, – сказал, подойдя к этому молодому человеку, стрелецкий сотник пожилых лет и вовсе не красивой наружности.

– А! Здравствуй, Лутохин! – промолвил как будто бы нехотя молодой человек.

– Я и не знал, что ты приехал, – продолжал пожилой стрелец. – Ну, брат, понаслышались мы о тебе!.. Поздравляю, Дмитрий Афанасьевич!

– С чем!

– Как с чем?.. Ведь ты два месяца тому назад поехал отсюда в Кострому к своему дяде Семену Яковлевичу Денисову.

– Ну да!

– И не застал его в живых.

– Так ты с этим-то меня поздравляешь?

– Не с этим, братец! Да ведь он отказал тебе свое родовое поместье. Ты теперь человек богатый.

– Да Бог с ним, с этим богатством!.. Покойный дядя был мне вместо отца родного; кровных у меня никого нет. Что я теперь? Один как перст!

– А другой-то дядя – Андрей Яковлевич Денисов?

– Этого я знаю только понаслышке.

– И я его никогда не видывал, а слышать-то слышал. О нем идет много всяких речей: никоновцы зовут его еретиком, а те из наших, которые придерживаются старины, величают столпом православия. Да где он теперь?

– Бог весть!.. Покойная матушка сказала мне, что он сначала спасался в Соловках, после жил за Онегою, а там отправился на житье в Стародуб; а в самом-то деле, чай, никто не знает, где он теперь.

– Да, это правда. Мало ли что про него болтают: говорят, что он часто и в Москве бывает... да еще то ли!.. Рассказывают, будто бы его в одно время видели в разных местах. Вот примером сказать: ты бы сегодня под вечер повстречался с ним в Костроме, а мне бы он попался теперь на Красной площади. Да это все, чай, бабы сплетни. Скажи-ка мне лучше, Дмитрий Афанасьевич, ты вчера, что ль, приехал из Костромы?

– Нет, сегодня поутру.

– Ну, брат Левшин! – продолжал пожилой стрелец. – Жаль, что тебя здесь не было – поработали мы!

– Да, – прошептал молодой человек, – поработали. Да только кому? Ведь можно поработать и Господу, и сатане!

– Сатане?.. Что ты, что ты, – перекрестись! Пожалуй, у меня рука подыметя: я не мятежник и не убийца. Да что ж ты, Левшин, в самом деле! – вскричал пожилой стрелец. – Да разве мы бунтовщики какие? Ведь мы послужили царю нашему, Иоанну Алексеевичу, и нашей матушке, царевне Софье Алексеевне.

– А Петра-то Алексеевича ты забыл?.. Ну что ж? Ведь и он также царствует.

– Поработали! – продолжал вполголоса молодой человек. – Хороша работа!.. Как-то вам будет отвечать на том свете, коли на этом еще не ответите!.. Страшно подумать... сколько ближних бояр, знаменитых сановников!

– Экий ты, братец, какой! Да слышь ты, они все были изменники!

– Изменники? Неправда!.. Да если б и так: изменников судит царь и дума боярская, а мы что за судьбы?

– Что за судьбы?.. Видишь ли ты этот столб?

– Вижу.

– А знаешь ли, что он строится с дозволения нашей матушки-царевны Софьи Алексеевны?

– Знаю.

– А ведомо ли тебе, что его ставят здесь ради того, чтобы на веки веков знали о нашей верной службе и об измене бояр, за которых ты заступаешься?

– Все знаю – и дай Бог, чтоб этот столб скорее развалился.

– Ого!.. Так ты этак-то поговариваешь, Дмитрий Афанасьевич?.. Да чему и дивиться!.. Ведь ты не наш брат: ты стрелец только по имени. Отец твой Афанасий Ильич Левшин...

– Что мой отец? Он служил стрелецким головою.

– Знаем, знаем! А все-таки он был родовой человек. Твоя покойная матушка родом Денисова, племянница князю Мышецкому, – ты сам теперь богатый помещик; так пригоже ли тебе, такому боярину, служить в стрелецком войске! Тебе бы давно ударить челом, чтоб тебя перевели в жильцы. Ведь от жильцов-то недалеко и до стряпчих; а там, глядишь, родненька твой, князь Мышецкий, замолвит за тебя словечко ближнему боярину, князю Голицыну, – так ты как раз и в стольники попадешь.

– Нет, Лутохин: где служил и умер на службе мой отец, так и я буду служить.

– А коли так, зачем же ты говоришь такие речи? Иль ты не знаешь пословицы: с волками жить – по-волчьи выть.

– Я не волк, а человек, по-волчьи выть не умею, – сказал отрывисто молодой стрелец, отходя прочь от Лобного места.

Он не успел сделать несколько шагов, как другой стрелецкий сотник, почти одних лет и весьма приятной наружности, кинулся к нему на шею и закричал:

– Здравствуй, брат Левшин!.. Давно ли ты из Костромы?

– Только что приехал, – отвечал Левшин. – Эх, брат Колобов! – продолжал он. – Не чаял я видеть того, что вижу! Да неужели и ты такой же крамольник, как этот Федька Лутохин, с которым я сейчас говорил?

– Нет, Дмитрий Афанасьевич, не обижай! И я и все мои товарищи неповинны в этом грехе пред Богом и царем. Сухарева полк, в котором я служу, не изменил своей присяге. Сначала помutilи и наших ребят, и они было завозились, да пятисотенный Иван Васильевич Бурмистров – дай Бог ему здоровья! – сказал, что ляжет вместо порога у царских палат; вот они язычок-то и прикусили! А там вышел пятидесятник Борисов, человек, кажись, небожно грамотный, а как начал им толковать, что такое есть присяга, так все, братец, прослезилась!

– Ну, слава Богу! – сказал Левшин. – Хоть один полк! Все-таки душе полегче.

– Да зато уж, брат, как другие-то полки нас не жалуют – вот так бы и проглотили, да благо нельзя!.. Ведь целый полк не один человек – подавишься! Знаешь ли что, Дмитрий Афанасьевич: тебе бы не худо переписаться в наш полк. Ваш полковник Бухвостов болен, так зауряд правит полком Кузьма Иваныч Чермнов, задушевный друг Самбулову, Цыклеру и Щегловитому; а ведь они-то и были первыми зачинщиками мятежа. Чего доброго, коли, на беду, эти разбойники проведуют, что ты не тянешь на их руку, так они как раз тебя уходят.

– Как! Без суда?

– Какой суд! Скажут, что ты изменник – вот и все! Ведь наш теперешний-то набольший – князь Иван Андреевич Хованский, им с руки: что б они ни сделали, все шито да крыто!..

– Эх, брат, Колобов, не хотелось бы мне оставить полк, в котором помнят еще моего покойного батюшку.

– Раньше помнили, а теперь у них не то на уме. Ты, Левшин, послушайся меня! Хочешь, я теперь же пойду к Ивану Васильевичу Бурмистрову?.. Он это дело разом уладит.

– Ну, ин быть по-твоему, – сказал Левшин. – Ведь по правде-то сказать, и покойный батюшка не стал бы служить с бунтовщиками.

– Тише! Что ты горланишь! – шепнул Колосов. – Иль тебе надоело голову на плечах носить? Кругом нас ушей-то много – про себя что хочешь говори, а вслух не моги! Ведь здесь, братец, на площади расправа коротка – ни за что пропадешь!.. Ты теперь куда – домой, что ль?..

– Нет, еще не домой. Зайду в Успенский собор поклониться святым угодникам.

– Ну, ступай, а я завтра у тебя поутру побываю.

Левшин, простясь со своим приятелем, отправился в Кремль. Подойдя к Спасским воротам, он увидел, что множество празднующихся людей всякого состояния и в том числе несколько стрельцов столпились вокруг одного нищего. Лицо, руки и босые ноги этого нищего были запачканы грязью, а сверх посконного балахона, от которого оставались одни только лохмотья, надета была через плечо веревка, на которой висел плетенный из лыка кошель. Впрочем, лицо его было не безобразно, и седые распущенные по плечам волосы придавали ему вид состарившегося в трудах монастырского послушника.

– Ну, что вы пристали! – говорил он плаксивым голосом дурака, которого раздражили. – Наладили одно да одно: «Гриша! где ты был? Гриша! куда ты пропал?» Так не скажу. На что вам?

– Вот уж целый год никто тебя не видел у Спасских ворот, – сказал один купец. – Мы, Гриша, думали, что ты умер.

– Нет, брат, живехонек!..

– На-ка тебе, Гриша, копеечку, – сказал другой купец.

– На что мне? У меня, брат, и своих копеечек-то было много.

– Куда ж ты их подевал? – сказал первый купец.

– Разошлись по белу свету.

– Эх, Гриша, Гриша! Зачем же ты их не берег?..

– Большие колокола не велели.

Вся толпа засмеялась.

– Смейтесь, смейтесь! А послушайте-ка сами, что колокола говорят.

– А что они говорят, Гриша? – спросил один из купцов.

– Да маленькие-то лепечут: «Денег дай, денег дай, денег дай!» А большие-то, видно, умнее маленьких, те гудят: «Деньги гибель, деньги гибель, деньги гибель!»

Хохот в толпе удвоился.

– Да! Вам смех, а мне и полсмеха не было, – продолжал нищий. – Жаль было с денежками расставаться, а все-таки больших колоколов послушался: начал мои копеечки раздавать – бери, кто хочет! И теперь, – прибавил он с веселой улыбкой, – слава тебе, Господи, нет за душой ни полущечки!

– Гриша, – сказал один из стрельцов, – спой-ка нам Алексея Божья человека.

– Да, спой!.. Как бы не так! Ведь поешь, коли на сердце весело, а мне плакать хочется.

– О чем, Гриша?

– Да есть о чем. Пришел я вчера издалека, пообносился, устал, намаялся. Вот думаю: погоди! отведу же я себе душеньку, в Москве у меня приятелей-то много: тот даст калачик, тот рубашонку, тот зипун... Дай пойду к князю Юрию Алексеевичу Долгорукову. Он, бывало, голубчик, всегда меня и напоит, и накормит. Пошел. Стук, стук! «Что ты?» – «Пришел повидаться с князюшкой». – «Так ступай на погост: его убили стрельцы». – «А сынок-то его?» – «Лежит с ним рядышком». Ну, нечего делать! Я к князю Михаилу Алегуковичу Черкасскому. «Приказал, дескать, долго жить! Убили стрельцы». Я к князьям Ромодановским. «Свезли, дескать, на кладбище – убили стрельцы!» Вот думаю: пойду к Артамону Сергеевичу Матвееву – ведь его стрельцы-то отцом родным называли, так уж, верно, у них и руки на него не подымутся. Пришел. Стукнул в калитку. «Кого надобно?» – «Артамона Сергеевича». – «Помолись за его душу – убили стрельцы!»

– Туда изменникам и дорога! – прервал стрелец. – А ты, Гриша, пустого-то не мели.

– Да, да! – подхватил другой стрелец. – Ты смотри, лохмотник, ври да не завирайся! Пошел бы лучше да умылся – замарашка этакий! Руки-то все в грязи.

– И, брат! – сказал нищий. – Что грязь?.. Грязь ничего! Ополоснулся водицей – глядишь, и белехонек! А вот как руки-то замараешь христианской кровью, так уж их, голубчик, ничем не отмоешь.

– Вот что выдумал!.. – промолвил третий стрелец, огромного роста и с зверской, глупой рожей. – Ничем не отмоешь. Эва! какую околесную несет!

– Нет, не околесную, – подхватил первый стрелец. – Он себе на уме! Вишь, какие речи говорит!

– Эх, братцы, – продолжал нищий, – погуляли, потешились – будет! Пора и Богу помолиться! Ведь Он терпит, терпит, да как устанет терпеть, так худо, ребята! К вам также придут: «стук, стук!» – «Кого надобно?» – «Стрельцов-молодцов». Были, дескать, были, да все сплыли и напоказ не осталось.

– Ах ты, ворон зловещий, – завопил первый стрелец. – Да что ж ты, на самом деле, так раскаркался? Гоните его, ребята, с площади долой! Полоумный этакий! Пошел! Пошел!

Стрельцы бросились на нищего и начали его бить и гнать перед собою толчками.

– Что вы это, братцы? – закричал Левшин. – Ну не грешно ли вам? Недужный старик – нищий!..

Тут кто-то схватил Левшина за руку. Он обернулся. Перед ним стоял приятель его Колобов, бледный, как смерть.

– Скорей, скорей отсюда! – прошептал он торопливо.

– Постой, братец! – сказал Левшин. – Дай выручить этого бедняка. Они прибьют его до полусмерти.

– Эх, братец, оставь их! Ну, что они ему сделают? Ведь он убогий человек. Поколотят, да и все! А ты о голове-то своей подумай.

– О голове?..

– Пойдем! – сказал Колобов, оглядываясь робко назад и таща за собою Левшина. – Там, в Кремле, я все тебе скажу.

II

Войдя Спасскими воротами в Кремль, Колобов подвел своего приятеля на то самое место, где теперь Разводная площадь. В то время вся эта площадь была покрыта деревянными домами бояр и бревенчатыми избами, из которых многие были ничем не лучше нынешних белых крестьянских изб.

– Вот здесь мы можем на минуту остановиться, – сказал Колобов. – Сюда они не придут. Ну, слава Богу, что я тебя отыскал!.. Если бы ты им попался!..

– Кому, братец?

– Ну, Левшин, не говорил ли я тебе...

– Да что такое?

– А то, что тебе надобно скорей отсюда убираться, – да не к нам, в Стрелецкую слободу: там тебя найдут...

– Найдут? Кто найдет?

– А вот, послушай. Простясь с тобою, я пошел к Ивану Васильевичу Бурмистрову. Он живет в своем доме на Неглинной. Как я стал подходить к Каретным воротам, слышу – тебя называют громко по имени. Гляжу, стоит человек двадцать стрельцов да трое сотников твоего полка – этот буян Михайло Чечотка, Андрей Головлинский и мошенник Федька Лутохин. Я подошел поближе и стал прислушиваться. «Да, братцы, – говорил Лутохин, – Левшин всех нас позорит, говорит, что мы разбойники и бунтовщики, смеется над нашим столбом». – «Ах

он изменник! – закричал Чечотка. – Ребята! Знаете ли что? Петлю ему на шею да вздернем его на этот столб!» – «Вздернем!» – закричали стрельцы. «Стойте, братцы, стойте!.. Что вы? – молвил Андрей Головлинский. – Ведь он наш брат, стрелецкий сотник, а не купчина какой. Коли он изменник, так его надо казнить порядком. Отведем его к полковнику. Вы знаете, Кузьма Иваныч Чермнов потачки не даст...» – «Да что ж, – закричал опять Чечотка, – разве мы сами с этим дворянчиком не справимся?» – «Что и говорить, – сказал Головлинский, – убить не долго, да что в этом толку-то? Еще, пожалуй, скажут, что мы по насердкам убили этого изменника. Нет, братцы! Пусть прежде сделают ему пристрастный допрос, а как уличат в измене, так выведут на площадь да казнят всенародно, по приговору Стрелецкого приказа... Знаете ли что? Пойдемте все к нему на дом; коли еще он не вернулся, так мы его подождем». – «В самом деле, – молвил Лутохин, – пойдемте, братцы, захватим на дому этого Иуду-предателя, скрутим ему руки назад, да и потащим к полковнику Чермнову: он его допросит по-свойски!» – «А коли он начнет барахтаться, – промолвил Чечотка, – так мы его и без полковника порешим!.. Собаке-изменнику – собачья и смерть. Не так ли, ребята?» – «Так!» – заревели в один голос стрельцы, да всей гурьбой и отправились на Москворецкий мост, а я побежал тебя отыскивать, и слава тебе, Господи, что нашел.

– Уж не думают ли эти разбойники, – сказал Левшин, – что я живой им отдамся в руки?

– Не о том речь, братец!.. Ты ведь один с целым полком не сладишь. Вот как перейдешь к нам, так у тебя будет заступа – не выдадим; а теперь денька на три тебе надо приискать какое-нибудь укромное местечко. Ко мне нельзя: я живу за Москвою-рекою в слободе, а там тебя и ночью-то будут сторожить... Знаешь ли что? У меня есть знакомая старушка, она держит в Зарядье постоялый двор; сама она старообрядка, и останавливаются у нее все приезжие и старообрядцы. Старуха добрая; я ей скажу, что ты задолжал богатым людям и что тебя на правож тащили, да ты ушел! Так она отведет тебе такой уголок, что тебя в полгода и Земский приказ не отыщет. Нам придется опять идти через Красную площадь, да, чай, уж эти разбойники давно за Москвой-рекой, так мы с ними не встретимся. Пойдем, Дмитрий Афанасьевич. Пока я не сдам тебя с рук на руки моей старухе, до той поры у меня от сердца не отляжет.

Оба сотника, оставив Кремль, вышли опять на Красную площадь; с первого взгляда они увидели, что на ней происходит что-то необыкновенное. Народ волновался, шумел, и многочисленные толпы со всех сторон площади спешили к Лобному месту. Увлеченные этим людским потоком наши молодые стрельцы подошли довольно близко к Лобному месту – и тут представилось Левшину совершенно неожиданное для него зрелище. Множество людей, из которых некоторые были одеты как чернецы, стояли с иконами, крестами и святым Евангелием; у иных были в руках огромные свитки, другие толпились вокруг налоев, на которых лежали разогнутые церковные книги; перед ними полупьяные мужики держали зажженные свечи, а на Лобном месте стоял в подряснике человек высокого роста, с косматой бородой и растрепанными длинными волосами. Он кричал громким голосом: «Послушай, народ христианский, обличение на новую Никонианскую веру!.. Постойте, православные, за истинную церковь, ибо ныне уже нет православной церкви и прямая вера погибе на земли!.. Се бо антихрист настал!»

– Что это такое? – спросил Левшин, когда они, продравшись сквозь толпы и миновав церковь Василия Блаженного, повернули налево по Варварке. – Что это за человек такой?

– Да все тот же расстрига Никита Пустосвят. Вот уж он целую неделю таскается по всем площадям, рынкам и кружалам – мутит везде народ.

– И его до сих пор не уймут?

– Да, брат, сунься-ка! За его веру стоит половина стрелецкого войска, да никак и сам князь-то Иван Андреевич Хованский того же толку придерживается... Эх, брат Левшин, плохие времена!.. То-то и есть! Помирволили сначала этим крамольникам – дали повадку, а теперь им уж удержу нет!.. Ну, вот и церковь Максима Блаженного! Сюда, направо, Дмитрий Афана-

сыич, ступай за мной, – прибавил Колобов, начиная спускаться с крутой деревянной лестницы, которая, изгибаясь по скату горы, вела на одну из улиц Зарядья.

Зарядье, то есть часть города, находящаяся за рядами, и теперь составлена почти из одних въезжих домов, подворьев и харчевен; только теперь этот набережный квартал Китай-города застроен весь каменными домами, а тогда, за небольшим исключением, они все были деревянные. Нынешние постоянные дворы по большим дорогам могут дать понятие о тогдашних подворьях Зарядья; они были только гораздо обширнее и вместо одной большой избы составлялись иногда из трех или четырех изб, соединенных меж собою крытыми переходами; тут были и зимние теплые хаты с широкой печью и полатями, и летние светлицы с красивыми резными скамьями, дубовым чистым столом и оловянным висячим умывальником. Лучшим украшением этих изб и светлиц были, так же как и теперь, живописные иконы; перед ними обыкновенно теплилась лампада, а из-за них виднелась ивовая лоза, то есть верба, которая сменялась однажды в году после заутрени на Вербное воскресенье. Иногда также на одной полке с образами стояла склянка с богоявленской водою и лежало яйцо, которым хозяин и хозяйка дома похристосовались в последнее Светлое воскресенье со своим приходским священником.

Левшин и Колобов, спустясь по лестнице в Зарядье, прошли шагов двести вдоль прямой улицы, которая вела к Москве-реке; потом, повернув налево в кривой и грязный переулок, остановились подле ворот, занимающих промежуток между двумя высокими избами. Обе эти избы были в два жилья, крыты гонтом и украшены резными коньками и узорчатыми подвесками.

– Ну, вот и Мещовское подворье! – сказал Колобов. – Дома ли хозяйка? Эй, бабушка! Ты дома, что ль? – закричал он, подойдя к открытому окну одной из изб.

– Кто тут? – раздался в избе пискливый голос, и в небольшое окно сначала высунулся огромный красный нос, а потом вдвинулось, как в тесную раму, толстое, брюзгливое лицо с отвисшим подбородком.

– Здорово, Архиповна!

– Ах ты, сокол мой ясный, Артемий Никифорович, – пропищала эта безобразная рожа, ухмыляясь самым приветливым образом. – Милости просим, батюшка. Пожалуйте, пожалуйста! Калитка отперта.

Наши приятели взошли со двора в небольшие сенцы, в которых встретила их хозяйка дома, толстая, здоровая старуха, в поношенной камчатой телогрее и красной камлотовой юбке. Голова ее была повязана шелковым платком и, как видно, на скорую руку, потому что Колобов, взглянув на нее, засмеялся и сказал:

– Здравствуй, Архиповна! Что это у тебя шлык-то на стороне?

– Торопилась, батюшка, торопилась! – отвечала старуха, поправляя свой головной убор. – Ведь хуже, если бы вы застали меня простоволосою. Милости просим в мою келью, господа честные, милости просим!

Стрельцы вошли в небольшую хату, довольно опрятную, но такую низкую, что Левшин, который был высокого роста, едва не доставал головою до потолка. В переднем углу, на полке, вместо обыкновенных живописных икон, стоял огромный медный складень с выпуклыми изображениями святых и висели на гвоздике кожаные четки.

– Архиповна, – сказал Колобов, – я привел к тебе этого молодца; он так же, как я, стрелецкий сотник.

– Вижу, батюшка, вижу!

– Мы с ним задушевные приятели – крестами давно поменялись.

– Сиречь вы крестовые братья. Так, батюшка, так!

– Вот изволишь видеть: он позадолжал и уже его сегодня вели на правеж...

– На правеж!.. Этакого молодца и красавца!.. Помилуй Господи!.. Видала я, как на этих правежах бьют прутьями по ногам. Мука, батюшка, мука!

– А делать-то нечего, Архиповна; если б он не ушел, так пришлось бы ему стоять босиком перед приказом.

– Полно, так ли, Артемий Никифорович? Уж не хотели ли его только пугнуть? То ли время теперь, чтоб стрелецкого сотника отдавать на правез!.. Да какой купец или горожанин посмеет...

– Вестимо, Архиповна, купец не посмеет, да он задолжал не купцам, а своей братье, начальным стрелецким людям.

– Вот что!.. Ну, это иная речь, батюшка: тут уже за него вступиться будет некому.

– Денька через три он как-нибудь справится и заплатит, да теперь-то не может, так, знаешь ли, на это время надобно его куда ни есть припрятать, понимаешь?

– Смекаю, батюшка.

– Не найдешь ли ты ему какой-нибудь уголок.

– Как бы не найти, да на тот грех все мое подворье битком набито приезжими – и все, батюшка, издалека, все люди нашей старой веры, со всех мест: с Поморья, с Вятки, из Брынских лесов... Говорят, будто бы собор будет и наши станут спорить с никоновцами и отстаивать истинную веру... Помогите им Господи!

– Эх, не о том речь, бабушка! Ты мне скажи: неужели-то у тебя нет ни одного порожного уголка?

– Есть-то есть, кормилец! На заднем дворе знатная светелка! И лесенка в нее особая.

– Так чего же лучше!

– А вот что, Артемий Никифорович: рядом-то с нею другая светелка, да снизу еще два покоя, – и в них во всех живет один приезжий...

– Ну, так что ж?

– Жилец-то, батюшка, не простой...

– Да не боярин же какой-нибудь!..

– Боярин не боярин, а кабы вы знали, кто у него вчера был тайком...

– А кто, бабушка?

– Да ведь вы, пожалуй, разболтаете...

– Нет, Архиповна, нет! Говори смело.

– К нему вчера, – продолжала старуха шепотом, – приходил в сумерки один-одинехонек... сама, батюшка, видела, своими глазами...

– Да кто?

– Ваш набольшой-то воевода...

– Князь Иван Андреевич Хованский?

– Он!

– Вот что?.. Да нет ли у твоего жильца дочки?

– И, полно!.. Что ты, греховодник!.. Ну, конечно, дочка есть, – да то-то и беда: она живет в светлице; так если узнают, что я под бок к ней посадила такого молодца...

– Да ведь, чай, между ним и этой красавицей стена будет?

– Какая стена... так, из дощечек; и на беду, и двери есть; хоть они и заколочены, а все, батюшка, как-то непригоже...

– Знаешь ли что, Архиповна: если тебя спросят, так ты скажи, что пустила в эту светелку недужного человека, старика... Ведь он никуда выходить же не станет, и всего-то на три дня...

– Правда, дочка-то приезжего, – продолжала Архиповна, – днем только сидит в светлице, а ночует, обедает и ужинает внизу.

– Так чего же ты боишься? Лишь только эта красавица в светлицу, так он притаится, как заяц под кочкой. Ей и в голову не придет, что подле нее живут.

– Ну, ин быть по-вашему! Только смотри, молодец, живи смирно, чтоб тебя и слышно не было.

– Да уж не опасайся! – прервал Колобов. – Ведь и он у меня ни дать ни взять красная девушка.

– Я затем это говорю, батюшка, что этот жилец-то, кажись, от всех прячет свою дочку, – и мне даже не дал перемолвить с ней ни словечка, у них дверь всегда на замке.

– А отец Левшин.

– Нет, батюшка, и он и служитель его часто выходят: их и теперь нет дома. Работница его, Дарья, также забежит иногда ко мне; а дочка, словно затворница какая, никуда ни пяди: весь день сидит одна-одинехонька да вышивает на пяльцах. Вот была в Москве, а Москвы не видала!

– Так это дело слажено, – сказал Колобов. – Что придется за постой и за хлебы, считай на мне, а теперь веди-ка нас скорей в светлицу. Да смотри, бабушка: коли неравно станут пытаться, не живет ли у тебя какой стрелецкий сотник...

– Так я, батюшка, хоть образ со стены сниму. Не живет, да и только! И почему мне знать, что он стрелецкий сотник? Мое дело бабье! Пожалуйте...

Левшин и Колобов, вслед за хозяйкою постоялого двора, прошли задними воротами на другой двор, застроенный клетями и амбарами, посреди которых стояла высокая изба в два жилья и с двумя крыльцами, одно с лицевой стороны под дощатым навесом, который поддерживали красивые балясы, другое сбоку и без всяких украшений. Архиповна пробралась сторонкой, завернула за угол избы и по крутой лесенке ввела стрельцов в небольшие сени.

– Постойте-ка на минуту, молодцы, – сказала она, – я пойду взгляну, где моя жилица.

– Да разве ты, бабушка, сквозь стену-то увидишь?

– И, кормилец! В дощатой стене всегда щелочки есть, – отвечала Архиповна, входя в светлицу.

– Слышишь, Левшин? – сказал Колобов. – Смотри же, брат, скажи мне, хороша ли твоя соседка. Ведь тебе делать-то будет нечего, сиди себе у стенки да в щелку и посматривай.

– Ступайте, господа честные, – промолвила Архиповна, растворяя дверь. – Жилица моя внизу.

Наши приятели вошли в небольшую светелку с одним окном.

– Вот, батюшка, – сказала Архиповна, обращаясь к Левшину, – там под лавкой лежит войлочек. Не прогневайся, лишней перины у меня нет да и подушечек-то Бог не дал. Что ж делать – не взыщите!

– И, бабушка, есть о чем хлопотать! – прервал Колобов. – Была бы только крыша. Ведь наш брат, ратный человек, ходя наестся и стоя выпится.

– А что, молодец, – сказала Архиповна, обращаясь к Левшину, – не принести ли тебе поужинать?

– Спасибо, бабушка! Я ужинать не стану, – отвечал Левшин.

– Что ты, что ты, кормилец! Без ужина да без молитвы никогда спать не ложишься...

– Нет, любезная, я есть не хочу.

– Что нужды, батюшка; ты на это не смотри: и не хочется да покушай.

– Не тронь его, Архиповна, – прервал Колобов. – Коли он не хочет есть, так я за него поем; ты же ономясь хвалилась, что у тебя есть астраханская белужина.

– Есть, батюшка!.. Да есть также и малиновый медок, – вот тот самый, что ты жаловать изволишь.

– Право? Так я, бабушка, к тебе заверну.

– Милости просим! А твоему крестовому братцу, видно, уж принести пораньше позавтракать. Ты что хочешь, молодец? Я сама тебе состряпаю. Хочешь ли перепечу крупичатую или курник с яичной подсыпкою?

– Все равно, бабушка, все равно!

– Нет, батюшка, не все равно: перепеча перепечей, а курник курником.

– Ну, как сама хочешь.

– Так лучше курник – это будет посытнее. Теперь пойду на ледник, нацежу свеженького медку жбан, да уж так и быть... редкий гость!.. есть у меня заветная наливочка: прошлого года гостинец из Черкас привезли... Ну уж, батюшка, есть чем почестовать, – сластынь такая, что и сказать нельзя!.. Прощенья просим!.. Мотри же, Артемий Никифорович, я буду тебя дожидаться.

– Да не бойсь, Архиповна, припасай только нам своей аленой наливки-то, а уж мы твои гости.

– Так я пойду. Счастливо оставаться, господин честной!.. Спокойной ночи, крепкого сна... Ох, да натошак-то какой сон!

– Засну, бабушка! – сказал Левшин, улыбаясь. – Прощай!..

– Насилу ушла! – промолвил Колобов, когда Архиповна вышла из светлицы. – Старуха добрая, а уж куда здорова болтать. Ну, брат Левшин, ты сам покамест пристроен к местечку, теперь надо подумать о твоих домашних. Тебя эти разбойники не захватят на дому, да зато уж все твое доброе подымут на царя, заберут твоих служителей, начнут от них выпытывать, где ты, – замучат их сердечных!

– Я этого не боюсь, – сказал Левшин. – Ведь я еще и сам в доме-то не был.

– Как так?

– Да так. Я сегодня около вечерен приехал сюда налегке с одним знакомым купцом из Ростова. Он приехал к своему родному брату, который служит подьяком в Холопьем приказе, а тот не хотел отпустить меня без угощения; рассказал мне почти со слезами обо всех безбожных делах этих окаянных мятежников, – и я прямо из его дома пришел на Красную площадь, где с тобой и повстречался.

– Так ты один приехал из Костромы?

– Нет. Мой слуга Ферапонт и конюх едут на долгих. После покойного дядюшки досталось мне много всякого добра...

– А, вот что! Так у тебя обозец сюда идет?

– И коней ведут, двух персидских аргамаков. Одним из них тебе челом бью, Артемий Никифорович.

– Спасибо, Дмитрий Афанасьевич!

– А другого оставлю для себя; Султаном зовут. Что за конь, братец!.. Ферапонт никогда не бывал в Москве, так я велел ему дожидаться меня по Троицкой дороге у креста.

– Когда ты их ждешь?

– Да завтра поутру должны быть.

– Так я вместо тебя их встречу.

– А я было сам думал...

– Нет, братец, погоди!.. Неравно еще наткнешься на кого-нибудь из своих товарищей. Уж верно они обо всем донесли полковнику Чермнову; чай, он теперь и рвет и мечет. Вот как перейдешь в наш полк, так ты себе перед ним хоть вовсе шапки не ломай; а пока еще ты у него под началом, так он может тебя и силою потянуть на расправу... Э! Да постой-ка!.. Ведь ты никак знаком с боярином Кириллою Андреевичем Буйносовым?

– Как же! Он очень любил моего покойного батюшку и меня изволил жаловать.

– Так я завтра же поутру у него побываю. Я слышал, что он живет в ладу с нашим главным воеводою, князем Иваном Андреевичем Хованским, и коли замолвить ему словечко, так тебя завтра же переведут в наш полк. Ну, брат Левшин, делать нечего, пришлось тебе жить затворником!.. И то сказать – вперед наука! Думай, что хочешь, а языку-то воли не давай. Плетью, брат, обуха не перешибешь. Ты лучше по-моему: сиди у моря да жди погоды; будет и на нашей улице праздник: не все станут мирволить этим крамольникам. Дай только подрасти нашему батюшке, Петру Алексеевичу, так он приберет к рукам и их и сестрицу свою, – промолвил

вполголоса Колобов. – Да что об этом толковать – не наше дело!.. Прощай, брат, до завтра! Пойду смаковать хваленной наливочки... а ты смотри – на улицу ни ногой!.. Да не забудь, Левшин, я завтра спрошу тебя: хороша ли твоя соседка?

Простившись со своим приятелем, Левшин сел на лавку и призадумался не о том, что он должен был скрываться, как преступник, что неосторожной речью восстановил против себя своих сослуживцев, – нет! Чистая и благородная душа его не терпела немоты. Он не мог не высказать того, что было у него на сердце, и повторил бы снова те же самые слова перед всем полком своим. «Умереть за правду весело, – думал он, – а грустно жить таким круглым сиротой. Что я? Без отца, без матери, без кровных... Я теперь богат, а на что мне это богатство? Кого я им порадую?.. Ах! Зачем Господь не послал мне подругу по сердцу!.. Я желал бы, чтобы она была бедна: я осыпал бы ее жемчугом, одевал бы в парчу, тешил бы, как малое дитя... а теперь кого я потешу, кому скажу: “Ты делила со мной и бедность и горе; у нас все было пополам, – так раздели же со мной и мое богатство, и мои радости. Веселись, моя ненаглядная, чтоб и мне было весело; будь счастлива, чтоб и я, глядя на тебя, был счастлив?..” Почем знать, может быть, злодеи отыщут меня... Они не пощадили и родственников царя, так что же для них убить беззащитного бобыля, без рода и племени. Почем знать, может быть, завтра или через несколько дней меня не станет, и некому будет поплакать о горькой доле бедного сироты, и разве только добрый Колобов, да и то тайком, отслужит панихиду за упокой души раба Божьего Дмитрия!»

Никогда еще Левшин не чувствовал так сильно эту непреодолимую тоску одиночества. Нет! Никакие дружеские связи, никакая приязнь не могут заменить для души нашей ласки отца и матери, привет родных сестер и братьев и эту святую, неизменную любовь доброй жены, которая – я уверен в этом – и, умирая, не покидает своего мужа! Она изменяет только свое название и вместо жены становится его ангелом-хранителем!.. Мы, дети девятнадцатого столетия, чтоб рассеять грустные мысли, отправляемся в театр, скачем на гулянье, едем на бал, – а тоска за нами следом: от нее никуда не ускачешь! У наших предков было средство повернее этого. Когда их мучила грусть, томило уныние, они молились Богу, и горький плач скорби превращался в тихие слезы умиления; а эти слезы... о, верьте мне! Как роса небесная для цветка, попавшего зноем, так эти слезы для души, истомленной земною горестью! – Левшин прибежал к этому средству – и, когда усердная молитва облегчила его душу, он прилег на жесткий войлок, положил под голову свое платье и, как на мягком пуховике роскошного богача, заснул самым тихим и спокойным сном.

III

Левшин проснулся рано поутру и едва успел одеться и помолиться Богу, как вошла к нему Архиповна, неся на деревянном блюде завтрак.

– Ну, вот, батюшка, – сказала она, – изволь покушать моей стряпни. Я принесла к тебе спозаранок затем, чтоб ты позавтракал, прежде чем твоя соседка придет в светлицу. Что, молодец, проголодался?.. Чай, у тебя сна вовсе не было?

– Нет, бабушка, я спал хорошо.

– Ну, диво! А я, грешница, коли не поужинаю вдоволь, так во всю ночь глаз не сведу... Поболтала бы я с тобой, да некогда: пора на рынок идти... Ох, сердечный! Скучно тебе будет, не с кем словечка перемолвить; а если б и было с кем, так придет твоя соседка, и ты хочешь или не хочешь, а молчи... да уж помолчи же, батюшка! Не введи меня, старуху, в слово.

– И ты думаешь, Архиповна, соседка не догадается, что подле нее живут? Что же мне целый день не пошевелиться.

– Да это, батюшка, ничего! Пустила, дескать, денька на три хворого старичка. А как начнешь говорить, так не поверят: голос-то у тебя не стариковский. Ну, изволь же, батюшка,

покушать на здоровье моего курника!.. Да вот тебе на этом кулечке калачик, крупчатый хлеб, штофик с медом, а в сенях я поставила кувшин с водой... Прощай покамест, молодец!.. Пораньше-то на рынке из первых рук купишь, – продолжала Архиповна, уходя, – а только опоздай немного, так они, окаянные прасолы, все захватят. Ведь теперь на перекупщиков, – промолвила она, остановясь в дверях, – никакой управы не найдена. Не прогневайся, они, почитай, все стрельцы... Ох! Батюшка, жутко нам от них приходится: все забирают в свои руки!

Несмотря на приглашение гостеприимной хозяйки, Левшин не дотронулся до завтрака; ему было совсем не до того: он чувствовал, что с ним происходит что-то небывалое; он не мог присесть на одном месте; кровь прилиwała беспрестанно к сердцу, которое поминутно замирало от какого-то тревожного ожидания. Вчера еще он вовсе не думал о своей соседке, а теперь, бог весть почему, она не выходила у него из головы. Сначала он сам не понимал, отчего желает с таким нетерпением увидеть вовсе не знакомую ему девицу, быть может, весьма непригожую собою; но, наконец, какое-то темное и в то же время непреодолимое предчувствие овладело совершенно его душой. Оно как будто бы говорило ему: «Вот здесь, за этой перегородкой, живет та неизменная подруга, неразлучная спутница в жизни, которая предназначена тебе от Господа». Нетерпение его умножалось с каждой минутой. Вот прошел час, другой... «Полно, придет ли она сегодня? – думал Левшин, ходя взад и вперед по своей тесной горенке. – Уже солнце высоко! Скоро благовест начнется... Чу!.. Вот и загудел Успенский колокол!.. Пора бы, кажется». Несколько раз подходил он к дощатой стене и смотрел в щелку, хотя всякий раз видел одно и то же: чистую светлицу, побольше той, которую он занимал, лежанку из белых изразцов, скамью, стол, а на столе большие пальцы. Но вот наконец послышался шорох... Левшин прижался к перегородке и затаил дыхание... Двери в светлицу отворились, и вошла женщина среднего роста; но прежде, чем Левшин успел взглянуть на ее лицо, она обернулась спиной к перегородке, чтоб, по тогдашнему благочестивому обычаю, помолиться пред иконами. Как ни коротка была эта молитва, но Левшин успел полюбоваться прекрасным станом своей соседки. Она была в шелковом сарафане, с непокрытой головой, которую опоясывала одна только алая ленточка; ее заплетенные в широкую косу волосы, черные и блестящие, как воронье крыло, опускались почти до самой земли; на ногах ее были красные черевички, которые показались Левшину похожими на башмачки восьмилетнего ребенка. Когда соседка его, помолясь перед иконами, обернулась к нему лицом, он едва мог удержаться от невольного восклицания... Нет! Никогда и в самых пылких мечтах своих не создавал он существа прелестнее этой красы-девицы, которая теперь представилась ему наяву! Вы, может быть, знаете из старинных песен, что тогдашний идеал женской красоты немного имел в себе романтического. Белизна, дородность и яркий румянец на щеках составляли главное достоинство русской красавицы. Отчего же Левшин смотрел с таким упоением на эту девицу с гибким станом и почти бледными щеками? Уж не потому ли, что истинная, совершенная красота, несмотря на условные и весьма различные понятия о красоте, просто и без всякого отчета пленяет нас своей неизъяснимой прелестью?.. Вероятно, Левшин не думал ничего подобного, все чувства его слились в одно зрение. Он не рассуждал, а смотрел только с восторгом на эти черные, задумчивые глаза, в которых выразалось какое-то спокойное уныние и тихая кротость младенца, на эти алые уста, на это белое, как снег, девственное чело, на эти обворожительные ямочки на щеках и мелкие, ровные зубы, которые блеснули, как чистый жемчуг, когда красавица, взглянув на свою работу, улыбнулась и молвила довольно громко: «Ну, батюшка будет доволен! У него еще не было такого нарядного ручника». Эти слова были сказаны таким звучным и очаровательным голосом, что в наше время какой-нибудь меломан назвал бы его музыкальным. Девица, полюбовавшись несколько времени своей работой, села за пальцы. С полчаса Левшин не отходил от перегородки; он не спускал глаз со своей красавицы, следил за каждым ее движением, и когда она встала, чтобы достать кошелек, который лежал на полке, то сердце в нем замерло от испуга. Он подумал, что его соседка хочет уйти. Прошло еще несколько минут, красавица

перестала работать, облокотилась на стол и задумалась. По-видимому, эти размышления были не очень приятны, потому что ее светлые очи затуманились и налились слезами.

– Да что это он мне все мерещится, – шепнула она, – и во сне и наяву!.. Ах, зачем я его видела! Прежде мне было только скучно, а теперь!..

Тут снова послышался шорох.

– Это ты, Дарья, – спросила девица тихим и приветливым голосом.

– Я, матушка, – отвечала входившая в светлицу толстая, здоровая девка в крашенинной душегрейке, затрапезной юбке и кожаных чеботках, надетых на босу ногу.

– Батюшка дома?

– Нет, ушел вместе с Антоном... Не с кем словечка перемолвить!.. Я было толкнулась к хозяйке, и та на рынок ушла... вот я, Софья Андреевна, к тебе; все-таки вдвоем повеселее... Да что это?.. Никак, ты плачешь?..

– Нет, Дарья, так...

– Как так!.. Смотри-ка, смотри! Слезы так и льются!..

– Скучно, Дашенька, грустно!

– И, матушка! О чем тебе грустить? – сказала Дарья, садясь на скамью. – Уж тебя ли батюшка не лелеет!.. Чего у тебя нет?.. И платья шелковые, и дорогие монисты, и жемчужные ожерелья...

– Жемчужные ожерелья!.. А на что мне они?..

– Как на что?.. Открой скринку, да и любуйся?.. Нет, Софья Андреевна, не гневи Господа!.. Коли твое житье не житье, так что же наше?.. Вот ты захотела Москву посмотреть, – батюшка тебя в Москву привез...

– В Москву!.. Так, по-твоему, этот постоянный двор – Москва?

– А как же!.. Разве ты из своей светлицы Ивана Великого не видишь?

– Москва!.. – повторила вполголоса девица. – Да неужели в самом деле я вижу Москву в первый раз?

– Вестимо в первый, матушка.

– Так отчего же мне кажется... Кремль, соборы, Иван Великий... да, да! я уж их когда-то видела... Ах, как мне тяжело!.. Вот так и хочется о чем-то вспомнить... Да нет, не могу!.. Знаешь ли, Даша: у меня в голове бывает иногда – ну точь-в-точь как ночью, когда начинает заниматься заря... станет светлеть... светлеть... Вот, смотришь, сейчас и солнышко взойдет... вдруг набегут тучи, все потускнеет, подернется мглою, и опять потемки – опять ничего! Помнишь ли, Даша, когда мы ехали Москвою, я вдруг вскрикнула?

– Помню, матушка!

– А знаешь ли отчего?

– Да оттого, что к нам в повозку заглянули пьяные стрельцы.

– О нет! Я их не видела.

– Так отчего же?

– А вот отчего: мы проехали мимо большого дома с высоким теремом. Как я на него взглянула, так у меня сердце и забилося!.. Ведь этот дом... Ну вот, ты опять станешь надо мной смеяться...

– Нет, не стану. Ну, что этот дом, Софья Андреевна?

– Да, да! Этот дом, два крыльца с большими навесами, терем с тремя окнами, белая каменная кладовая с железной дверью – все это показалось мне знакомым, родным, вот так бы туда и бросилась... Помнишь, как я заплакала?.. Ты, верно, думала оттого, что меня напугали стрельцы?.. Нет, Дашенька, мне жаль было расставаться с этим домом.

– И, матушка, ты опять за старое! Ведь уж столько раз тебе толковали, что лет пятнадцать тому назад – тебе еще было тогда годка четыре – ты была при смерти больна и как выздоровела, так забыла все прежнее, а помнила только то, что видела в бреду.

– В бреду!.. Ах, как это чудно!.. Я и теперь как будто бы сквозь сон, а помню... Даша! Ведь у меня сестер не было?

– Не было, матушка.

– А мне, помнится, их было много... и маленькая и большая... У меня и матушка была...

– Ну, конечно, была; да только ты ее не помнишь. Батюшка твой сказывал, что тебе и году еще не было, как она умерла.

– Ах, нет, Даша!. Я говорю о другой, – ну вот что я во сне-то видела... Постой! – продолжала девица, приложив руку к голове. – Да, да!.. У меня и отец также был, только совсем не такой, как батюшка... и матушка у меня была, и нянюшка... Погоди, погоди! Кажется, я начинаю вспоминать... Мы все едем, едем!.. А какой-то темный лес... а там... Да помню... мне что-то сделалось очень страшно... со мной никого нет, ни матушки, ни нянюшки... А там я как будто бы заснула. О, долго, долго спала... А что было после – ну, уж этого, Дашенька, я никак не могу вспомнить!..

– И, Софья Андреевна! Охота же тебе вспоминать о том, что ты видела в бреду! Я тогда у вас в дому не жила, а слышала после: у тебя была такая огневица, что ты, почитай, целый месяц в память не приходила, так диво ли, что тебе и бог весть что мерещилось?.. И со мной была однажды такая же болезнь, и мне также помнилось, что я боярыня, что у меня золота и серебра полные сундуки насыпаны, а как пришлось после опять за квашню приниматься, так поневоле вспомнила, что я работница... Да что об этом говорить! Знаешь ли, Софья Андреевна, зачем я была теперь у нашей хозяйки? Я хочу от нее допытаться, что за молодых таких она провела вчера через наш двор; а уж нечего сказать – молодцы!.. Особливо тот, который пониже; что за личмянной детина такой!..

– Ах, нет, Дашенька! Тот, который выше, гораздо милевиднее.

– Э!.. Так и ты их видела?

– Да... так... мельком... Я на ту пору сидела у окна... Чему же ты, Дарья, смеешься?

– Тому, матушка, что ты этак покраснелась... Ну!.. Еще! Слово маков цвет!.. Э-их, Софья Андреевна!.. Молоденька ты, матушка!.. Ну, что за беда, что ты взглянула на пригожего детину? Ведь ты не черница какая!

– Знаешь ли что, Дашенька? Помнишь, прошлого года на Святках ты уговорила меня гадать?

– Помню, матушка! Ты еще сказывала мне, что видела во сне молодца, русоволосого, с голубыми глазами... Неужели этот высокий детина?..

– Ах, Дашенька, ну точь-в-точь такой же! И взгляд такой же унылый, и платье, помнится, на нем такое же...

– Вот что!.. Ну, Софья Андреевна, видно, он твой суженый.

– И, полно, Даша!.. Прохожий!..

– Что, матушка, прохожий, – не узнаешь!.. Вот и я также: ела на Святках пересол, и меня во сне напоил какой-то вовсе не знакомый детина. Что ж ты думаешь? Не прошло месяца, как я его увидела!.. Да ты знаешь его: работник твоего батюшки, Архипка рыжий...

– Архипка!.. Да ведь он женат!

– А почему знать, матушка, может быть, и овдовеет.

– Так ты думаешь, что этот прохожий молодец мой суженый?

– Да видно, что так. А жаль, что не другой!.. Другой-то пригожее.

– Ах, нет, Дашенька!

– Да чем же этот высокий показался тебе лучше своего товарища?

– Я и сама не знаю; но уж только лучше его я в жизнь свою никого не видела.

Вы можете себе представить, каково было Левшину, когда в эту самую минуту, может быть, блаженнейшую во всей его жизни, двери из сеней отворились, и он увидел Колобова,

который манил его к себе. Левшин отскочил от перегородки, вышел потихоньку в сени и затворил за собою дверь.

– Ну что ты, братец? – спросил он почти с досадою.

– Да что, Дмитрий Афанасьич, – отвечал Колобов, улыбаясь, – я вижу: не в пору гость хуже татарина! Ну что, хороша ли?

– Кто хороша?

– Вестимо кто – твоя соседка.

– А почему я знаю. Она ни разу не приходила в светлицу.

– Так чего же ты смотрел в щелку-то?

– Так – от безделья.

– Хитришь, брат!.. Ну, если твоей соседки нет, так войдем к тебе в светлицу.

– Нет, нет! – прервал торопливо Левшин. – Лучше здесь!.. Неравно кто-нибудь войдет, услышит, что мы разговариваем...

Колобов засмеялся.

– Эх, полно, братец! – сказал Левшин. – Говори скорей, зачем ты пришел?

– Как зачем?.. Повидаться с тобой, да взглянуть на твою соседку.

– Охота же тебе, Колобов...

– Ну, ну, не сердись!.. Экий ревнивый какой!.. Вот что, братец: я сейчас был у боярина Кириллы Андреевича Буйносова; он уже все знает: на тебя донесли князю Хованскому, а тот ему пересказал. Как я стал говорить, что ты хочешь перейти в наш полк, так боярин покачал головою и сказал: «Поздненько Левшин хватился; теперь уж речь не о том, а как бы только голова-то на плечах осталась. Сегодня, как совсем смеркнется, приди с ним тайком ко мне, так авось мы придумаем, как горю пособить». От боярина Буйносова я отправился к Кресту и, как туда попал, гляжу – тянется по Троицкой дороге обозец, телег шесть, и двух коней ведут: на задней телеге едет холоп, такой дюжий, что страшно взглянуть: рожа широкая, рябая...

– Ну, так и есть! – прервал Левшин. – Это Ферапонт.

– Я закричал: стой, ребята! Вы не Дмитрия ли Афанасьевича Левшина? «Его-ста», – молвил передний подводчик. – «Кто из вас Ферапонт?» – «Я, ваша милость!» – отвечал рябой, соскочив с телеги. Я сказал ему, что выслан навстречу, что им теперь на дом к тебе ехать нельзя и чтоб они остановились в первом постоялом дворе и ждали приказа. Оттуда я пошел к тебе, – и, знаешь ли что, Левшин? Как я проходил через Красную площадь, так слышал такие непригожие речи, что упаси Господи! Народ так и кипит – и все какие-то разносчицы; а Никита Пустосвят стоит опять на Лобном месте и кричит: «Пойдемте, православные, в собор изгонять хищного волка... Да восстанет истинная церковь и расточатся все враги ея!..»

– И некому унять этого злодея? – вскричал Левшин.

– Какой унять!.. К нему весь народ пристает. Крики и гам такой, что и сказать нельзя! Мне повстречался наш пятисотенный Бурмистров и с ним человек двести стрельцов: идут в Кремль охранять царские палаты. Я и сам туда же сейчас побегу.

– Как! – сказал Левшин. – Неужели эта сволочь осмелится ворваться в чертоги царские?

– Чего доброго, у них все станется.

– Так и я с тобою! – вскричал Левшин.

Он вбежал в светлицу и схватил свою саблю.

Увлеченный первым порывом, этот пылкий и благородный юноша забыл, что его могут и видеть, и слышать из соседнего покоя.

– Что ты, Левшин, что ты? – сказал Колобов, идя вслед за ним в светлицу. – Да в своем ли ты уме? Ты хочешь идти в Кремль?.. Да разве ты не знаешь, что твои злодеи ищут тебя по всему городу?.. И добро бы еще в другое время, а то теперь, когда эти окаянные крестоизменники опять завозились!.. Да ты и до Кремля не дойдешь. Лишь только выйдешь на площадь, так тебя тотчас же и уходят.

– Воля Божия, Артемий Никифорович, – чему быть, тому не миновать.

– Да сделай милость – останься!..

– Останься!.. Эх, брат, не тебе бы говорить, не мне бы слушать!.. Чтоб я в то время, как наш батюшка, Петр Алексеевич, будет окружен изменниками и предателями, сидел, как баба, взаперти?.. Нет, Колобов! Не тому учил меня покойный батюшка. «Коли пришлось умирать за веру православную и за царя, – говаривал он, – так не торгуйся: ложись, да и умирай! Там будет хорошо».

– И, братец! Да что значит один лишний человек?..

– Что значит! А почему ты знаешь, может быть, мне-то Господь и судил заслонить мою грудью того, кому я целовал крест и святое Евангелие?

– Эй, Левшин, подумай!.. Ведь ты идешь на верную смерть.

– Наша жизнь, Колобов, в руке Божьей. Коли мне не суждено погибнуть от моих злодеев, так я останусь жив; а если суждено, так не честнее ли мне умереть с оружием в руках у порога царского, чем здесь или в другом каком захолустье?

В эту минуту послышался какой-то глухой и невнятный шум, похожий на отдаленный гром, которого раскаты слились в один грозный и протяжный гул.

– Чу!.. – сказал Левшин. – Слышишь ли, братец?

– Да, Дмитрий Афанасьич, и здесь слышно, как воют на площади эти голодные волки. Видно, опять крови захотелось!..

– Идем!..

– Нет, воля твоя, я тебя ни за что не пущу; лучше сам не пойду.

– Так оставайся же один! – вскричал Левшин.

Он оттолкнул своего приятеля, опрометью бросился вон и в три прыжка очутился внизу лестницы. В то самое время, как он выбежал из светлицы, за перегородкою раздался горестный вопль и кто-то прошептал: «Боже мой! он идет на смерть!..» – «Эх, жаль молодца!» – проговорил другой голос, и все затихло. Когда Левшин вышел на двор и обернулся, чтобы посмотреть, идет ли за ним Колобов, то невольно взглянул на светлицу своей соседки – и что ж он увидел? Она стояла у открытого окна. Ее взор, исполненный любви и страха, был устремлен на него... О, это уже не случай! Она была у окна для того, чтобы он ее видел... Эти глаза, наполненные слезами, этот умоляющий взгляд, эти сложенные руки!.. Казалось, она хотела ему сказать: «О, не ходи, не ходи!»

Как вдруг окно затворилось, и подле Левшина раздался голос Колобова.

– Ну что ты, братец, остановился? Уж не передумал ли?.. Эй, Дмитрий Афанасьич, послушай меня!

Левшин стоял бледный, как смерть; он едва мог дышать, он чувствовал, что кровь застыла в сердце... О! Кто может разгадать, что происходило в эту минуту в душе влюбленного юноши?.. Святой долг – и первая любовь; там, в Кремле, почти верная смерть, – а здесь, быть может, целый век блаженства, подле той, которую избрало его сердце!.. Да! Эта душевная борьба была ужасна; но она недолго продолжалась; полумертвое лицо Левшина оживилось снова, взор вспыхнул, и он, схватив за руку своего приятеля, сказал твердым голосом:

– В Кремль, мой друг!.. В Кремль! А там что Бог даст? Его святая воля!

– Куда вы это, молодцы? – спросила Архиповна, которая стояла у ворот постоянного двора.

– Теперь на площадь, бабушка, – отвечал Колобов.

– Да на площади никого нет: все в Кремле.

– Зачем?

– Как зачем?.. Я вам говорила, что будет собор. Грановитая-то палата битком набита: все наши там.

– Слышишь, брат? – вскричал Левшин. – А мы еще здесь. Скорей, скорей!

– Что за диво! – прошептала Архиповна. – Вчера этот молодец от правежа прятался, а теперь в Кремль идет!.. Ах, батюшки! Бегом пустились!.. Уж не хотят ли и они постоять за истинную веру?.. Давай Господи!

IV

Левшин и Колобов добежали в несколько минут до Красной площади; на ней народ не толпился, по обыкновению, но за то у Спасских ворот была такая давка, что они должны были поневоле остановиться.

– Что, молодцы, – сказал какой-то нищий, который сидел у самых ворот, приютившись к стене, – знать ходу нет. Эва, как народ-то сперся в воротах – ни туда ни сюда!

– А! Это ты, Гриша? – сказал Левшин.

– Я, брат.

– Бедненький! Чай, тебя вчера больно стрельцы-то прибили?

– Да, брат, потрепали, дай Бог им здоровья!.. Да что вы напираете – не пройдет, молодцы. Дайте народу схлынуть. Вишь, Никита как всех перебулгачил: уж за ним людей-то шло – видимо-невидимо!.. Эх, Никитушка, Никитушка, – продолжал нищий, покачивая головой, – слепой вождь слепых!.. Жаль мне тебя, голубчик! Много за тобой пришло сюда друзей и приятелей, а много ли их будет с тобой, как выведут тебя на площадь?

– Что ты это, Гриша, говоришь? – спросил Колобов.

– Так, брат, про себя! – сказал нищий и запел вполголоса: – Со святыми упокой!.. Ах, что-то не поется, – промолвил он, остановясь, и горько заплакал.

– Ах, батюшка, Дмитрий Афанасьевич! – сказал какой-то приземистый и плечистый детина, лет тридцати пяти, подойдя к нашим приятелям, которые как ни старались, а не могли подвинуться ни шагу вперед.

– Это ты, Ферапонт? – вскричал Левшин. – Зачем ты здесь?

– Виноват, батюшка, не утерпел! Хотелось поклониться московским угодникам.

– Эх, брат! – прервал Колобов. – Напрасно ты ушел с постоянного двора...

– Да там, батюшка, остались конюх Вавила и двое подводчиков: ничего не пропадет.

– Успел бы и после побывать в соборах, то ли теперь время.

– А что, сударь?

– Разве не видишь?

– Вижу, батюшка: народ так и валит в Кремль... Видно, ход?

– Какой ход!

– Что ж это, Колобов! – вскричал с нетерпением Левшин. – Долго ли нам здесь стоять? Пойдем лучше к Никольским воротам.

– А вам, батюшка, пройти, что ль? – спросил Ферапонт. – Так прикажите, я как раз дорожку прочишу.

– Вишь, какой Еруслан Лазаревич! – сказал Колобов. – Нет, брат, тут на силу не возьмешь.

– А вот посмотрим! – прошептал Ферапонт. Он уперся могучим плечом в толпу, понатужился, двинул – и вся эта плотная масса народа заколебалась.

– Тише, тише! – раздались голоса впереди.

– Батюшка, давят! – закричали под воротами. – Смерть моя!.. раздавили!.. Куда ты, разбойник этакий!.. Тише, тише!.. – Но Ферапонт, не обращая внимания на все эти вопли и ругательства, продолжал медленно подвигаться вперед, а за ним Левшин и Колобов.

– Уф, жарко! – сказал он, отдуваясь, когда они выбрались наконец за ворота. – Ну, тесно! Еще бы этак саженой десятка три-четыре, так и я бы из сил выбился!

– Экий бык! – промолвил Колобов, глядя с удивлением на Ферапонта. – Однако ж, брат, ступай и здесь передом: вишь народу-то набралось! А, чай, там, около Грановитой палаты, хоть по головам ходи.

И подлинно, вся нынешняя Дворцовая площадь запружена была народом. Несмотря на охранную стражу, составленную из стрельцов Сухарева полка, толпы всякого рода и звания людей ежеминутно прорывались к Красному крыльцу, которое было все усыпано народом. Ферапонт принялся снова работать плечами, валя народ направо и налево, и лишь только потряхивал курчавою головою, когда какой-нибудь невежливый кулак задевал его по затылку. Вот наконец наши приятели протеснились до Красного крыльца и, оставив Ферапонта внизу, начали взбираться по лестнице. Мимоходом они заметили, что большая часть людей, захвативших все входы в Грановитую палату, состояла из раскольников: у каждого за поясом четки, у иных в руках книги и почти у всех за пазухой камня. Все эти раскольники были в каком-то исступлении, и у некоторых лица выражали такое нечеловеческое зверство и остервенение, что страшно было на них взглянуть.

В сенях перед Грановитой палатой столпилось человек двести этих бешеных изуверов – пройти было невозможно.

– Посторонитесь, ребята! – сказал Левшин. – Мы идем в Грановитую палату.

– Постоите и в сенях! – промолвил один высокий старик в длинном балахоне.

– Говорят вам, посторонитесь! – повторил вспльчиво Левшин.

– А тебе говорят, стой там, где стоишь!.. Вишь, какой выскочка!.. Да не пыли, не пыли, молодец, надорвешься.

Колобов толкнул локтем Левшина и, оборотясь к старику, сказал вполголоса:

– Экий ты, братец какой!.. Да там в палате, чай, православных меньше, чем никоновцев, так что ж вы своих-то не пускаете? Ведь этак мы не одолеем.

– А вы разве наши?

– Ваши, ваши! – шепнул Колобов.

– Посторонитесь, правоверные! – закричал старик.

Толпа расступилась. У дверей Грановитой палат стоял довольно сильный отряд из стрельцов и детей боярских; разумеется, Колобов и Левшин, как стрелецкие начальные люди, были пропущены. Они вошли в палату, и вот что представилось их взорам: на царском месте сидели цари Иоанн и Петр Алексеевичи; рядом с ним, по левую сторону, сидела на великолепных креслах сопрательница, царевна Софья Алексеевна, подле нее вдовствующая царица Наталья Кирилловна, великие княжны Татьяна Михайловна и Мария Алексеевна. Потом на скамьях, которые тянулись вдоль стен всей палаты, размещены были по старшинству думные бояре, окольниковичи и прочие государственные и придворные сановники. По правую сторону царского места сидел святейший патриарх Иоаким; одиннадцать митрополитов, четыре архиепископа, два епископа и все московские архимандриты. С обеих сторон царского места стояли рынды, младшие придворные чины и человек пятьдесят вооруженных жильцов, одетых в шелковые разноцветные терлики. Вся середина палаты была занята толпою раскольников: тут были люди всех званий, и в том числе многие принадлежащие, по-видимому, к духовному сословию. Это были беглые чернецы, выгнанные из монастырей послушники и расстриги из белого духовенства; одни из них держали в руках иконы, другие огромные зажженные свечи. Впереди этой буйной сволочи стоял перед налоем расстрига Никита Пустосвят. По обеим сторонам у входа в Грановитую палату толпились стрельцы разных полков со своими начальниками. Колобов присоединился к отряду Сухарева полка; Левшин стал подле него. Когда они вошли в палату, дьяк Борис Протасов читал, по приказу царей, челобитную Никиты, в которой этот мятежный расстрига, называя себя и своих единомышленников православными, а все духовенство, начиная с патриарха, отступниками от истинной веры, требовал собора для всенародного обличения всех последователей, по словам его, нечестивой никонианской ереси. Когда челобитная

была прочтена, Никита и некоторые из его сообщников, ссылаясь на принесенные ими древние рукописи, начали в самых дерзких и обидных выражениях обвинять духовенство в злоумышленном искажении церковных книг. Святейший патриарх и митрополит Астраханский Никифор ответствовали им, что сделанные при патриархе Никоне поправки в церковных книгах были необходимы, что некоторые списки, при сличении их, оказались несходными меж собою и что даже многие из прежних переводов греческих церковных книг не во всем были сходны со своими подлинниками. Но все эти доказательства, основанные на истине и здравом смысле, остались тщетными. Грубое невежество и эта фарисейская гордость, которую мы называем фанатизмом, ненавидят истину. Многогочие, пустословие, превратное толкование текстов и насилие – вот их здравый смысл и логика. Вместо того чтоб слушать с должным уважением слова своих духовных пастырей или, по крайней мере, возражать им с кротостью и приличием, Никита и его сообщники, забыв, что находятся в присутствии самих царей, подняли такой неистовый крик, что заглушили совершенно речи архипастырей и не давали им выговорить ни слова. Я думаю, всякому случалось видеть людей и пообразованнее раскольников, которые полагают, что победили своих противников, потому что им удалось их перекричать, – так удивительно ли, что Никита и его товарищи, почитая себя победителями, приступили смело к главной своей цели, то есть к торжественному проповедованию, в присутствии царей и всего духовенства, своих невежественных бредней и богопротивной ереси; но тут восстал против них архиепископ Холмогорский Афанасий. Он некогда разделял сам заблуждения этих последователей аввакумовского раскола и, следовательно, знал лучше других, на чем они основывали свои превратные понятия о вере. На все их лживые умствования он возражал словами Спасителя, его апостолов, святых отцов и самыми ясными, неоспоримыми доказательствами изобличал всю нелепость их противозаконных толков и верований; но это вовсе не усмирило, а только привело в большую ярость мятежников. Эта, по словам летописца, «гибра изуверия» чем более была поражаема, тем страшнее становилась. Угрозы заступили место доказательств, и расстрига Никита, видя себя совершенно побежденным, в безумной ярости бросился на архиепископа Афанасия и ударил его в грудь. Это буйное святотатство было началом всеобщего смятения. Исступленные крики и неистовые вопли мятежников заглушили все. Раскольники, бывшие в сенях, сломили стражу и ворвались в палату; те, которые стояли на Красном крыльце, обратились к народу и начали кричать: «Ступайте, православные, спасайте церковь! На соборе насилие! Никоновцы бьют православных!» В самой палате раздавались везде мятежные крики. «Очистим от хищных волков церковь! – вопили раскольники. – Истребим всех слуг антихристовых!» В эту минуту общего смятения царь Иоанн Алексеевич, Софья Алексеевна и весь двор, по выражению того же летописца, в несказанном страхе и слезах ушли из палаты, и на царском месте осталось одно десятилетнее дитя; но это дитя был Петр. Окинув смелым взглядом мятежную толпу, он встал, снял с головы своей царский венец и детским, но уже мощным голосом сказал: «Пока этот венец на главе моей и душа в теле, не попушу воевать святую церковь: и, как я сам нарицаю ее матерью и верю, что она есть правая и истинная, так и всем повелеваю верить! Ну что ж вы? – продолжал он, обращаясь к стрельцам, и грозный взор его засверкал гневом. – Берите этих крамольников!» В одно мгновение все изменилось. Голос царя русского, как глас Божий, поразил мятежников. Стрельцы, державшие сторону раскольников, выдали их с руками. Левшин первый с обнаженною саблею кинулся в толпу, а за ним все те из стрельцов, которые не принадлежали к расколу. В несколько минут зачинщики были схвачены, и все их сообщники выгнаны из палаты.

Во все это время юный государь стоял на царском месте; его грозный, но спокойный взор был устремлен на толпу стрельцов, которые не принимали участия в усмирении мятежников; казалось, он чувствовал, что только один всемогущий взор помазанника Божия мог сковать буйную волю крамольных стрельцов, готовых стать грудью за своих сообщников. Когда в палате не осталось ни одного раскольника, то державшие их сторону стрельцы стали также

выходить понемногу. Эта вовсе неожиданная развязка, разрушив все замыслы дерзких бунтовщиков, превратила их в толпу робких преступников, которые помышляют только о том, чтоб избежать заслуженного наказания. Одни из них пробрались потихоньку на Лыков двор – этот главный притон мятежных стрельцов, а другие присоединились даже к тем, которые гнали из Кремля раскольников. Вскоре не осталось во всей Грановитой палате никого, кроме государя Петра Алексеевича, нескольких ближних его бояр и всего духовенства. Тогда началось умиленное зрелище, о котором повествуют летописцы. Престарелый патриарх Иоаким, а вместе с ним и весь священный синклит, спасенный единым словом державного отрока, пали к стопам его. Владыка православной церкви русской, святители московские, все пастыри духовные – старцы, поседевшие в подвигах веры, трудах и молитвах, – у ног десятилетнего ребенка!.. Но этот ребенок был уже великий муж духом, мудростью и силой своей непреклонной воли.

Когда Дворцовая площадь и окружные места были совершенно очищены от мятежников и вся эта сволочь, всегда дерзкая при успехе и трусливая при малейшем сопротивлении, рассыпалась во все стороны, Левшин, который во время этой суматохи разлучился с Колобовым, встретился с ним опять у подворья Крутицкого монастыря.

– Это ты, Левшин? – вскричал Колобов. – Ну, слава тебе, Господи! А я уж было совсем отчаялся, думал, что ты попал в руки к твоим злодеям.

– Нет, Бог помиловал.

– Погоди-ка, брат! – сказал Колобов.

Он поглядел кругом; казалось, все было спокойно; изредка прокрадывался около стенки какой-нибудь гражданин, робко озираясь кругом; кой-где мелькали черные рясы духовенства, которое помаленьку пробиралось из Грановитой палаты в Чудов монастырь, и только вдали, у Спасских ворот, слышны были крики стрельцов, которые продолжали гнать из Кремля остальную народ.

– Смотри-ка, – сказал Колобов, – давно ли здесь негде было и яблоку упасть, а теперь хоть шаром покати!.. Зато, чай, на Красной площади народ так и кипит!. Делать-то нечего, брат: придется тебе пообождать.

– Да, – отвечал Левшин, – теперь вряд ли я доберусь благополучно до Мещовского подворья.

– Тише, тише, братец!.. Что ты кричишь! – прервал Колобов, озираясь. – Ну, если кто-нибудь подслушивает...

– Да ведь мы здесь одни.

– Нет, брат, не одни!.. Кажись, там за углом кто-то кашлянул.

– Я ничего не слышал.

– А вот посмотрим.

Колобов обошел кругом подворья.

– Ну, что? – спросил Левшин.

– Теперь никого нет. Только вот что, Дмитрий Афанасьевич: как я зашел за угол, показалось, что кто-то юркнул к Шереметеву.

– Кто-нибудь из его холопей.

– Статься может, а все-таки лучше будешь поопасливее... Чу, слышишь, как шумят на площади?

– Слышу, братец.

– Да вот скоро разбредутся. Время обеденное – пора и за кашу приниматься. Ну, Дмитрий Афанасьевич, хорошую было кашу заварил этот Никита, как-то ему придется ее расхлебывать!.. Верить ли, братец, очнуться не могу! Как это нам помог Господь?.. Ведь в палате, кроме наших сухаревских, почитай все стрельцы были за раскольников; с тем и пришли, чтоб за них стоять.

– Да, Колобов, кабы не батюшка Петр Алексеевич...

– Да, да!.. Исполать ему! Как он встал на своем царском месте, так, веришь ли Богу, показался мне выше тебя!.. Подумаешь: всего десять годков – что ж будет, как он подрастет?.. Ну, Дмитрий Афанасьевич, вот это царь так царь!

– И все его покинули! – сказал Левшин. – Оставили одного посреди мятежников!..

– В том-то и дело, братец!.. Ох, матушка Софья Алексеевна! Хитрая ты, а все не будет по-твоему: кого Господь Бог хранит, тому люди ничего не сделают. Вот хоть ты, Левшин: видел ли, как в палате смотрел на тебя полковник Чермнов? Вот так бы и проглотил живого! И негодяй Чечотка и Федька Лутохин глаз с тебя не спускали, – а что они тебе сделали?

– Не до того было, братец.

– И ничего не сделают! Ты, Левшин, видел ли в палате боярина Кириллу Андреевича Буйносова?

– Нет, не видел.

– А он тебя видел, долго шептался с нашим воеводою, князем Иваном Андреевичем Хованским, и они оба на тебя смотрели.

– Так ты думаешь, князь Хованский за меня заступится?

– А как же?.. Он для Кириллы Андреевича все на свете сделает; только теперь-то не попадись в руки к твоим злодеям, а уж там дело как-нибудь уладят.

– Постой-ка, – сказал Левшин, – кажется, и на площади все утихло. Не пора ли нам идти?

– Ну, пожалуй! Пойдем к Спасским воротам, а там посмотрим.

Левшин и Колобов дошли до Вознесенского монастыря, не встретив почти никого; но когда они вышли за Спасские ворота, то увидели, что на Красной площади много еще было стрельцов и народ толпился около Лобного места.

– погоди, брат! – сказал Колобов. – Вот, кажется, идут сюда стрельцы моей сотни... Ну, так и есть! Ивашка Троицкий... вон Ларька Недосекин... Знаешь ли что? Я вместе с ними провожу тебя до Зарядья; мы пойдем кучкою, ты в середине: там никто тебя не увидит.

– Ну, что вы, молодцы, нейдете? Теперь ведь просторно, – раздался позади их знакомый голос Гриши. Он сидел на прежнем месте, прислонясь к стене. – Вот, подумаешь, – продолжал нищий, – шли в Кремль, как на праздник, чинно, шажком, с иконами, а из Кремля-то... у!.. батюшки!.. словно дождь – все врассыпную! Кто куда попал: кто домой, кто в лавки, кто в Разбойный приказ...

– В Разбойный приказ? – спросил Левшин.

– А как же? Ведь Никиту не домой отвели... Эх, буйная, буйная головушка! Недолго тебе, головушке, на плечах оставаться!.. За чем пошел, то и нашел!

– Ты это говоришь, – спросил Колобов, – о разбойнике Никите?

– Разбойник?.. Дай-то Бог, чтоб было по-твоему, голубчик!.. Разбойник что!.. А вот худо, как он в Иуды попадется – помилуй Господи!..

– Эй, Недосекин! – закричал Колобов. – Троицкий!.. Ребята!.. Подите-ка сюда!

Человек пятнадцать стрельцов подошли к Колобову.

– Вы куда, братцы? – спросил Колобов. – В слободу?

– В слободу, батюшка Артемий Никифорович! – отвечал один из стрельцов.

– Так и мы с вами. Пойдем, Дмитрий Афанасьевич!

Окружив своими стрельцами Левшина, Колобов повел эту небольшую толпу прямо к Москворецкому мосту. Дойдя до ворот, которые также назывались Москворецкими, он остановился и шепнул:

– Теперь с Богом, Дмитрий Афанасьевич!.. До дому тебя с такой ватагой довести нельзя: всех переполошишь. Да и к чему? Видишь, кругом все пусто; ты здесь мимо заборов прокрадешься так, что тебя никто не увидит. Ступай теперь налево по улице, а там как повернешь в третий переулочек, ты и дома. Прощай, брат!.. Вечером я у тебя побываю.

Левшин, простясь с Колобовым, добрался благополучно до своего переуллка; в нем было все тихо и спокойно. Увидев издали Мещовское подворье, он остановился посмотреть, может ли пройти в него так, чтоб никто этого не заметил. При взгляде на это подворье мысль о прекрасной незнакомке снова овладела его душой. Кто не знает, что любовь без надежды – не радость; но после того, что Левшин видел, уходя с подворья, ему нельзя было не надеяться; он не мог чувствовать тогда вполне своего счастья; он шел навстречу к своим, злодеям, его ожидала почти верная смерть или, по крайней мере, заточение и ссылка, а теперь!.. Господь помиловал его; он остался жить и свободен; он опять ее увидит, услышит снова ее пленительный голос... быть может... о, нет сомненья!.. она дозволит ему говорить с нею... Но если отец ее?.. Да кто ж он такой?.. Знатный и богатый человек не станет жить на этом подворье... Так неужели он не согласится выдать дочь свою за родового человека и богатого помещика?.. Нет, нет! не может быть: ей нельзя принадлежать другому – она его суженая!.. И вот Левшин женат!.. вот едет на житье в свое костромское поместье... О! каким земным раем будет для него это привольное село на берегу Волги-матушки! Этот светлый и красивый дом на высоком холму, с которого вся Кострома как на блюдечке! Этот заветный луг, эта березовая роща, в которой он станет гулять со своим милым, ненаглядным другом сперва вдвоем, а там – если Бог благословит... Нет, страшно подумать о таком счастье!.. Ведь этак блаженствуют только на небесах!.. Так мечтал Левшин, подходя скорыми шагами к подворью. Когда он поравнялся с избою, в которой жила Архиповна, она высунулась из окна и закричала: «Эй, молодец, молодец! Подика сюда!» Но Левшин ничего не слышал, он вбежал в ворота и, не обращая внимания на то, что происходило вокруг него, спешил скорее дойти до заднего двора. И до того ли ему было, чтоб смотреть по сторонам: в пяти шагах от него, в светлице, у растворенного окна, на том же самом месте, стояла она. Он видел этот взор, исполненный счастья и любви, он слышал это радостное восклицание, которое при его появлении вырвалось невольно из прелестных уст незнакомки... Но вдруг лицо ее покрылось смертной бледностью и в то же время, позади Левшина, загремел грубый голос: «Здравствуй, господин костромской помещик».

Левшин обернулся – перед ним стояли стрелецкие сотники Лутохин и Чечотка, а в нескольких шагах от них человек десять стрельцов, вооруженных саблями и короткими бердышами.

– Смотри, какой спесивый стал! – сказал Чечотка. – К нему гости пришли, а он шапки не ломает.

– Что вам надобно? – спросил Левшин.

– Да так! – отвечал Лутохин. – Не угодно ли твоей милости прогуляться с нами к полковнику Чермнову.

– Зачем?

– Видно, хочет с тобой побеседовать. Вишь, ты какой невидимка! Приехал из побывки, да к начальнику и глаз не кажешь. Пойдем-ка, брат, пойдем!

– А если я не пойду?

– Так мы тебя поведем.

– И как еще! – подхватил Чечотка. – С почетом: руки назад да веревку на шею. Эй, молодцы, вяжите его.

– Меня! – вскричал Левшин. Он отскочил назад, прислонился к избе спиной и выхватил свою саблю.

– Так ты еще драться хочешь? – заревел Чечотка, вынимая также свою саблю. – Ах ты изменник этакий! Братцы, – продолжал он, обращаясь к стрельцам, – нам приказано отыскать и схватить этого предателя живого или мертвого. Не дается живой – так рубите его!

Стрельцы бросились всей толпой на Левшина; но вдруг двери избы отворились, и раздался повелительный голос:

– Стойте, ребята!.. Что вы делаете?

– Князь Иван Андреевич! – вскричал Чечотка, опустив свою саблю. Все стрельцы остановились и сняли почтительно шапки, когда к ним подошел человек среднего роста, пожилых лет, в шелковом полукафтани, сверх которого надета была простая однорядка из черного сукна; в руке у него была костяная трость в золотой оправе, а на голове шапка мурmolка с собольим околышем. Это был главный начальник стрелецкого войска и приказа, князь Иван Андреевич Хованский.

– Что у вас здесь за драка была? – спросил он строгим голосом.

– Не драка, государь милостивый князь, – отвечал с низким поклоном Лутохин. – А вот мы по приказу нашего полковника хотели взять этого бунтовщика...

– Бунтовщика... Какого бунтовщика?

– Да вот нашего сотника Левшина.

– Левшина! – вскричал Хованский. – Так это ты, голубчик?.. Ага, сердечный дружок, попался!.. О! Да ты еще, брат, отбиваться хотел, – видишь, какой бойкий... Возьмите у него саблю?

Левшин молча подал ее Лутохину.

– Так это ты, изменник? – продолжал Хованский. – Да если правда, что ты дерзнул говорить такие непригожие речи и позорить христоролюбивую надворную потеху...

– Истинно правда, батюшка князь Иван Андреевич, – сказал Лутохин. – Пожалуй, он теперь отопрется...

– Кто? – сказал Левшин. – Я отопрусь?..

– Молчи, бунтовщик! – закричал Хованский. – Я знаю, что ты хочешь сказать. Мне, дескать, и запирается не в чем, я этого не говорил. Да вот погоди, как попадешь в застенок, так смолвишь!.. Да еще то ли я о тебе слышал!.. Мне Кирилла Алексеевич Буйносов все пересказал. Ты зачем ездил в Кострому?.. Знаем мы – все знаем!.. Вишь, что затеяли, окаянные крамольники!..

– Я никогда не был крамольником, – сказал Левшин. – Я ездил в Кострому...

– Молчи, говорят тебе! – прервал гневно Хованский. – Вздумал меня учить!.. Я знаю лучше тебя, что говорю!

– А коли тебе, батюшка Иван Андреевич, – сказал Чечотка, – доподлинно известно, что он изменник, так уж с ним бы один конец. Прикажи только: мы его сей же час при тебе казним.

– Казним! – повторил Хованский. – Ах, ты глупая голова?.. Одного казнишь, а десятеро останутся... Уж коли этот изменник говорил такие речи на площади, так неужели вы думаете, что он один?.. Нет, ребята, их целая шайка. Этого молодца надобно будет и в Кострому спсылать для улики; и коли правда то, о чем мне донесли, так тебе, дружок, и на плахе-то места не будет; а коли неправда, так я все-таки ушлю тебя туда, куда ворон костей не заносил. Лутохин, возьми с собою двух молодцов да отведи этого мятежника в Земский приказ. Ты мне за него головою отвечаешь. А там скажи, что покамест я за ним не пришлю, берегли бы его с великим опасением. Чего доброго, пожалуй, этот сорвиголова сам на себя руки подымет, а нам улика надобна... С Богом, ребята! Ступайте по домам! Благодарствую вам за ваше усердие – и вперед всех изменников ловите!

– Будем, отец наш, будем! – закричали стрельцы.

– Ну, батюшка, – сказал Лутохин, обращаясь к Левшину, – не угодно ли вашей милости!.. Ты, Сучков, ступай по правой стороне; ты, Мутовкин, по левой, а я уж пойду сзади. Да смотрите, чтоб он стрелка не дал: ведь молодец-то легок на ногу – не догонишь! Пожалуй, батюшка, пожалуй!

Левшин, уходя со двора, взглянул на светлицу: окно было открыто по-прежнему; но где же его прекрасная незнакомка?.. О, в эту минуту она была счастливее своего суженого! Она не чувствовала, что, может быть, расстанется с ним навсегда! Когда толпа бешеных стрельцов,

с поднятыми бердышами, бросилась на Левшина, кровь застыла в ее жилах, сердце перестало биться, и она упала без чувств подле окна своей светлицы.

V

Вероятно, мои читатели не забыли, что Земский приказ, куда велено было отвести Левшина, находился на Красной площади, недалеко от Лобного места. Когда Лутохин привел в этот приказ своего арестанта, солнце стояло уже высоко, и вся площадь была пуста. В старину и простой народ, и купцы, и бояре, одним словом, все, не исключая самого царя, обедали всегда в один и тот же час, то есть около полудня, и непременно отдыхали после обеда. В это время по всему городу распространялась глубокая тишина, и даже бездомные нищие не бродили по опустевшим улицам, но, пообедав, чем Бог послал, отдыхали, разумеется, летом в хорошую погоду, на погостах, а в дурную – на папертях приходских церквей, которых было тогда в Москве, конечно, вчетверо более, чем теперь.

В передней комнате Земского приказа, если только можно назвать комнатой какой-то подвал с низким сводом, грязным каменным помостом и узеньким окном, сидело на скамьях человек десять объезжих ярыжек и один очередной огнищанин, то есть полицейский офицер тогдашнего времени.

– Здравствуйте, братцы! – сказал Лутохин, входя в этот покой. – Князь Иван Андреевич Хованский прислал к вам гостя.

– Милости просим! – отвечал огнищанин, вставая. – Эге! Да он никак ваш брат, стрелецкий сотник?

– Наш брат?.. Нет, любезный, мы с изменниками не братаемся.

– С изменниками?.. Вот что! Так надобно разбудить нашего дневального поддьяка. То-то разгневется!.. Он только что прилег всхрапнуть, – да воля его... изменник дело не шуточное!

Огнищанин растворил двери в другой покой и закричал: «Вставай, Ануфрий Трифонович!»

Вместо ответа послышалось что-то похожее на глухой рев медведя, которого потревожили в берлоге; потом все опять затихло.

– Слышишь, Ануфрий Трифонович? – закричал опять огнищанин. – Вставай!

– Что там еще? – пробормотал охрипый голос. – Прах бы вас взял! Зачем?

– От князя Ивана Андреевича... Ступай проворней!

– Иду, иду!

Двери растворились настежь, и из соседнего покоя вышел, или, верней сказать, вылез, человек непомерной толщины, с круглым багровым лицом, широким расплюснутым носом и почти голым подбородком, на котором два клочка коротких волос заменяли бороду. На нем был долгополый, запачканный чернилами кафтан с высоким козырем, то есть стоячим воротником; на ногах поношенные желтые сапоги; на голове шелковая тафья, или круглая шапочка, похожая на жидовскую ермолку, а за поясом висели на цепочке медная чернильница и футляр, также медный, для пера.

– Эка служба, подумаешь! – сказал он, переваливаясь через порог и протирая свои заспанные глаза. – Чай, теперь и каторжные-то спят в остроге, а ты вставай!.. Нелегкая меня понесла!.. Ну что вам надобно?

– Да вот сдать тебе этого барина, – сказал Лутохин, указывая на Левшина. – Князь Иван Андреевич приказал держать его под крепкой стражей, пока он за ним не придет, а присматривать хорошенько, чтоб он тяги не дал или не поднял сам на себя рук.

– Небось в кандалах не уйдет и рук на себя не подымет; я велю их в колодку заколотить.

– Ну там как знаешь!.. Теперь давай мне ярык, что я тебе сдал его с рук на руки...

Поддьяк написал на клочке бумаги расписку и отдал ее Лутохину.

– Прощай, господин костромской помещик! – сказал Лутохин, уходя. – Счастливо оставаться!.. Как выйдешь в люди да будешь стольником, так не забудь и нас, грешных!

Левшин поглядел с презрением на Лутохина и не отвечал ни слова.

– Эй, вы! – сказал поддьяк. – Васька Фуфлыга, Андриюшка Бутуз, ведите-ка этого молодца ко мне.

Двое земских ярыжек ввели Левшина во второй покой. В нем стоял большой стол, покрытый красным сукном и заваленный бумагами; крутом стола с полдюжины небольших скамеек, вдоль стены широкая лавка и в углу на полке икона в раззолоченном кивоте.

– Да ты, молодец, – сказал поддьяк, – кажись, из начальных людей надворной пехоты!.. Смотри пожалуй – ус только пробивается!.. Ну, брат, раненко ты в чины заелся!.. Вот то-то и есть, кабы вашу братью, молокососов, держать в черном теле, так вы бы жили посмирнее... Ты что?. Ай, вздумал бунтовать против начальников?

Левшин молчал.

– О, да ты спесив, голубчик, – продолжал поддьяк, – и отвечать не хочешь!.. Да вот погоди, как сведут тебя в Константино-Еленскую башню, так там, брат, заговоришь! В застенке-то не по-нашему допрашивают. Ребята, общите его: нет ли с ним ножа. Вишь, он смотрит каким разбойником!

Земские ярыжки не нашли ничего у Левшина, кроме небольшого кошелька с серебряной монетой.

– Э! Да ты, брат, с денежками! – сказал поддьяк. – Дайте-ка сюда!

Он взял кошелек и высыпал все деньги на стол.

– Ого! – шепнул он, и глаза у него засверкали. – Да тут рублей десять будет!.. Эх, любезный! Жаль мне тебя, – видит Бог, жаль!.. Человек ты молодой, непривычный... как посидишь этак суток двое в колодке да в цепях, так жутко покажется... Фуфлыга, что весу то в наших кандалах?

– Да пудика полтора с походцем будет, – отвечал ярыжка.

– Слышишь, молодец?.. И в колодку-то как руки забьют, так – не прогневайся! Больно косточки побаливать станут... Бутуз! Помнишь того купца...

– Как же, – отвечал другой ярыжка. – Вот уж третий месяц, как он руками не владеет.

– Слышишь, молодец?.. И покоец-то, куда вашу братью сажают, со всячинкой: лечь коротко, стать низко, присесть не на чем...

– Для чего ты все это мне говоришь? – спросил Левшин.

– А вот для чего, молодец: хочешь ли, я не велю тебя ковать, и ты останешься здесь со мною?

– Как не хотеть.

– Только вот что, любезный: жаль-то мне тебя, жаль, да и на свой страх брать не хочется. Я человек небогатый, семейный: жена, дети...

– Ну, ну, хорошо! – прервал Левшин. – Я знаю, чего ты хочешь. Возьми эти деньги себе.

– Спасибо, добрый молодец, спасибо... Только не все: надо поделиться. Вот вам полуполтинник, ребята! – продолжал поддьяк, обращаясь к ярыжникам. – Да вот еще два алтынника: купите винца и попотчуйте своих товарищей, чтоб им завидно не было. Ну, ступайте, ребята!.. А ты, молодец, хочешь присесть, так садись; а коли хочешь отдохнуть, так ложись, – вон там на лавке. Я и сам прилягу: глаза так и слипаются... Да ты что на окна-то посматриваешь? – промолвил поддьяк. – Нет, голубчик! Все с железными решетками; да и без них не пролезешь – узеньки! А из дверей не выпустят. Ложись-ка лучше, брат, да сосни.

Поддьяк положил себе под голову связанную кипу бумаг, протянулся на скамье, зевнул раза два и захрапел, как удушенный. Левшин прилег также на лавку, но только не для того, чтоб спать. Говорят, что сон – утешитель несчастных; да их-то он редко и посещает. Эта лихорадка, томительная бессонница, почти всегда бывает неразлучной подругой душевной грусти и тоски.

О себе Левшин не очень заботился: ему нетрудно было отгадать, что князь Хованский вовсе не имеет желания погубить его и что все эти строгие речи и угрозы не значат ничего. Хованский не мог иначе говорить при стрельцах; и если б стал им явно противоречить, то, вероятно, они вышли бы из всякого повиновения. Даже само обвинение, что будто бы Левшин участвовал в каком-то костромском заговоре и что его должно отправить туда для улики, доказывало, что князь Хованский хотел только под этим предлогом услатить его подалее от Москвы. Одним словом, Левшин мог надеяться, что жизнь его теперь в безопасности; но зато для него исчезла вся надежда увидеть опять свою незнакомку. Он не знал, кто она, кто этот чудак, ее отец, который прячет ото всех свою дочь, – живет в Зарядье на плохом подворье, как самый простой горожанин или какой-нибудь иногородный небогатый купец, – и которого, однако ж, посещает старший воевода всего стрелецкого войска, властолюбивый и надменный князь Хованский. Почем знать, может быть, этот проезжий сегодня, завтра или через несколько дней уедет навсегда из Москвы?.. И вот чем кончились все надежды бедного юноши! Эта приволжская деревня, этот рай земной, эти вечерние прогулки с милым другом, – все эти радости, все это блаженство земное – обманчивый призрак, безумная мечта, необычайный минутный сон!

Чего не передумал, чего не перечувствовал Левшин в эти два часа, в продолжение которых толстый поддьяк пыхтел и храпел попеременно то басом, то дискантом. Наконец, этот страж, которого, впрочем, нельзя было назвать неусыпным, потянулся, зевнул и встал.

– Ну что, молодец, – спросил он, – вздремнул?

– Нет, – отвечал отрывисто Левшин. – Я не сплю после обеда.

– Не спишь? Нехорошо, любезный, нехорошо! Все православные должны спать после обеда; одни только еретики, – вот как был самозванец Гришка Отрепьев, – и в баню по субботам не ходят, и не отдыхают, поевши. Да ты, молодец, обедал ли сегодня?

– Нет, не обедал.

– Так что ж ты не скажешь, голубчик? Уж коли я взял тебя на руки, так ты мой гость.

Поддьяк подошел к столу, выдвинул ящик и вынул деревянное блюдо, на котором лежало полпирога.

– На-ка, любезный, – сказал он, – покушай на здоровье. Знатный пирог, с кашей!

Вы уже знаете, любезные читатели, что Левшин вовсе не походил на этих героев любви и самоотвержения, которые умирают, произнося имя своей любезной и в продолжение нескольких томов питаются одной любовью и воздухом. Он не ел более суток и хотя чувствовал непреодолимое отвращение от своего собеседника, однако ж присел к его пирогу и утолил свой голод.

– Ну, теперь, молодец, – сказал поддьяк, – не хочешь ли подкрепить себя травничком?

– Спасибо! Я вина не пью, – отвечал Левшин.

– И это напрасно, любезный!.. Вино веселит сердце человеческое, и одни поганые татары его не пьют, а ведь мы с тобой православные. Выкушай чарочку!

– Нет, право, не могу.

– Ну, как хочешь! – Поддьяк спрятал блюдо с остатками пирога, сел к столу и начал что-то писать, а Левшин прилег опять на лавку и предался своим грустным думам. Так прошло часа два или три. Вдруг в передней комнате послышались громкие голоса. «Ступай, ступай!» – кричал кто-то. «Ребята, помогите! Вишь, он в притолку упирается!»

– Что у вас там? – спросил поддьяк, вставая. Двери открылись, и вошел огнищанин, а за ним трое земских ярыжек, из которых один вел за ворот мужика, оборванного, замаранного грязью, с подбитыми глазами и окровавленным лицом.

– А! Это ты, Антошка Шельган? – сказал поддьяк, обращаясь к земскому ярыжке, который ташил за собою мужика. – Кого ты это подтенетил?

– Да вот, батюшка Ануфрий Трифонович, идем мы, я да Ивашка Кучумов, по Зарядью, глядим – лежит этот хмельной на улице на самой середине. Ну, долго ль до греха – место

проезжее. Мы стали его подымать, а он учал драться, да еще вздумал народ скликать; кричит, что мы его обобрали.

– Ах он мошенник!.. пьяница этакий!

– Помилуй, батюшка! – промолвил мужик.

– Молчи! – закричал подьяк. – Ты кто таков? Ко-лотырник какой-нибудь! Бездомный бродяга!..

– Нет, батюшка! я живу при месте, работником на подворье.

– А валяешься пьяный по улицам.

– Отец родной! – вскричал мужик, кланяясь в ноги. – Прикажи слово вымолвить!

– Ну что? Говори!

– Вот как дело было: стою я у стенки...

– У стенки! – прервал огнищанин. – Видно, ноги-то не держат!

– Батюшка! да я хмельного в рот не беру!.. видит Бог, не беру!

– Добро, добро! – сказал подьяк. – Ну, говори: стоишь ты у стенки...

– Вот они, батюшка, ко мне и подошли, да ни с того ни с другого – и ну ко мне придираться: что, дескать, ты тут стоишь? Да так, мол, стою! Ты, дескать, вор, высматриваешь, как бы что стянуть!.. Да и ну меня по скулам!.. Сбили с ног, вытащили мошну с деньжонками...

– Не слушай, Ануфрий Трифоныч, – прервал один из земских ярыжек. – Он врет: мы его пальцем не тронули, а, видно, он сам спьяна где-нибудь рожей-то на угол наткнулся.

– Не тронули! – повторил мужик. – Бога вы не боитесь!.. Посмотрите-ка на мои глаза!

– Что глаза? – прервал подьяк. – Глаза как глаза! Заплыли с перепоя – вот и все!

– С какого перепоя, батюшка?.. Я и по праздникам-то вина не пью.

– Не пьешь... да ты и теперь еле жив – пьяница этакий!.. Алексей Пахомыч! – продолжал подьяк, обращаясь к огнищанину. – Ну, посмотри, хмелен ли он?

– Какой хмелен! – сказал огнищанин. – Лыком не вяжет!.. Бутуз, подойди-ка к нему поближе... Ну, что?

– Фу-ты, батюшки, – промолвил земский ярыжка, наморщив рожу. – Да от него как от бочки, так винищем и несет!

Мужик заревел.

– Господи Боже мой! – говорил он, всхлипывая. – Вот грех какой! Ни за что ни про что избили – да я же виноват! Кормилец!.. отец родной!.. да вели мне хоть деньжонки-то отдать!

– Ах ты дурак этакий! – подхватил огнищанин. – Да почему ты знаешь, кто твои деньги взял? На улице народу-то много: как валяешься пьяный, так тебя всякий прохожий оберет.

– Пустите, пустите! – раздался в передней комнате женский голос. – Я дойду и до вашего старшего, что вы, в самом деле!.. Иль на вас управы нет?

– Кто там закричал? – спросил подьяк.

– Я, батюшка! – сказала Жанка, входя в комнату.

– Что ты, голубушка?

– А вот что, кормилец: управы прошу грабеж!..

– Что ты это мелешь?

– Нет, не мелю!.. Этот парень мой батрак...

– Так что ж?

– А то, что его избили и ограбили вот эти озорники.

– Врешь ты, дура! Они подняли его пьяного на улице.

– Пьяного?.. Что ты, батюшка, перекрестись! Да он вина-то сродясь не пивал!

– Так, видно, сегодня в первый раз хлебнул, – сказал один из ярыжек.

– Неправда!.. Моя работница стояла у ворот и все видела. Вот что, батюшка, – продолжала старуха, – этот земский ярыжка на меня злится! В прошлый праздник я ему ничего не дала, так он и хотел выместить на моем работнике.

- Ах ты разбойница! – вскричал подьяк. – Да как ты смеешь такие речи говорить?!
- Постой-ка, голубушка! – сказал огнищанин. – Ведь ты держишь Мещовское подворье?
- Я, батюшка!
- Заявляли ли тебе наказ боярина нашего, князя Михаила Никитича Львова, чтоб мести каждый день улицу перед домом, а?
- Заявляли.
- Так что ж ты не исполняешь этого приказа? Вот уж четвертый день, Ануфрий Трифонович, не могу добиться: сам заходил – не слушает, да и только!
- Помилуй, батюшка! ведь всю прошлую неделю дождик так и лил, грязь по колено – чего тут мести?
- Чего мести? – заревел подьяк. – Ах ты бунтовщица этакая!.. Сказано, мести, так мети!
- Да она никогда не метет, – подхватил огнищанин. – Все соседи жалуются.
- Соседи! – повторила старуха. – Ну, так я всю же правду скажу. У меня как просохнет перед домом, так пылинки не найдешь; а вот мой сосед, Михей Бутрюмов, у него и метлы-то в заводе нет, а все с рук сходит – и не диво: он к твоей милости каждый праздник с поклоном ходит.
- Эге! – вскричал подьяк. – Извет!.. донос в лихоимстве!.. О, старуха, да это дело не шуточное!.. Алексей Пахомыч! садись-ка, брат, да пиши, а я порядком ее допрошу.
- Что ты, что ты, кормилец! – вскричала старуха испуганным голосом. – Какой извет?.. Я это... так – к слову молвила.
- К слову?.. Вот мы тебе дадим слово!.. Пиши: такого-то месяца и числа, земские ярыжки, Ивашка Кучумов и Антошка Шельган, подняли на улице в Зарядье пьяного батрака с Мещовского подворья. Хозяйка батрака... Как тебя зовут?..
- Батюшка, помилуй! – завопила старуха, повалясь в ноги. – Сглуповала, отец мой, сглуповала!
- Чего тут миловать! Говори, как тебя зовут?..
- Федосья Архипова.
- Федосья Архипова... хорошо!.. Женка Федосья Архипова... Да ты что? Замужняя, вдова или девка?
- Горькая вдова, батюшка, сиротинка горемычная! Взмилуйся, отец родной! не губи!.. Баба я старая, глупая!..
- А вот как тебя вспрыснуть шелепами, да посидишь в остроге, так будешь умнее!.. Ну, пиши: хозяйка вышесказанного батрака, вдова Федосья Архипова, с великим шумом и буйством и насилием ворвалась в Земский приказ, и учла она, вышереченная вдова Федосья Архипова, говорить непригожие речи и разными хульными словами позорить честь не токмо земского ярыжки Шельгана, но и начального человека, огнищанина Алексея Подпекалова, якобы оный, Подпекалов, предаваясь злему лихоимству и хищению...
- Батюшка, я этого не говорила! – вскричала старуха. – Видит Бог, не говорила!.. К присяге пойду...
- Пиши, Алексей Пахомыч, пиши.
- Послушай, Ануфрий Трифонович, – сказал Лев-пгин, подойдя к столу. – Мне надо с тобой словечко перемолвить.
- Ну что, молодец? – спросил подьяк, отойдя в сторону с Левшиным.
- А вот что: денег у меня нет...
- Знаю, любезный, знаю!
- А есть золотой перстень – вот посмотри.
- Да!.. Перстенок хоть куда.
- Возьми и носи его на здоровье, только дозволю мне поговорить с этой старухой и отпусти ее домой вместе с работником.

- Нельзя, любезный, право, нельзя! Как дашь повадку, так после с ними и не сладишь.
 - Так ты не берешь?
 - Как бы не взять... Да, право, надобно поучить уму-разуму эту старую каргу – выскочка этакая!
 - Ну, полно!.. Надень-ка перстень на палец...
 - Дай-ка, дай... Смотри, пожалуй!.. Как по мне делан!.. И он, точно, золотой?
 - Я не стану тебя обманывать.
 - Ну, что с тобой делать! Быть по-твоему.
- Поддьак подошел к огнищанину, пошептался с ним и сказал старухе, которая дрожком дрожала и едва держалась от страха на ногах:
- Что, голубушка, присмирела небось? Будешь помнить?..
 - Буду, батюшка, буду!
 - И напередки не забывай: выше лба уши не растут.
 - Так, батюшка, так!
 - На носу себе заруби!
 - Зарублю, батюшка, зарублю!
 - То-то же!.. Ну, уж так и быть, Бог тебя простит!.. Ступай домой со своим батраком, да смотри, старуха, вперед всегда мети перед домом!
 - Кормилец! да я и так каждый день...
 - Опять заговорила!.. Уж коли сказано, что не метешь – так не метешь! Да смотри за работником, чтоб он вперед по улицам-то пьяный не валялся.
 - Батюшка, дело прошлое, а ведь он человек трезвый, – покарай меня Господи...
 - Эка назойливая баба! – вскричал поддьак. – Ты у ней хоть кол на голове теши, а она все свое!.. Уж коли в Земском приказе по обыску окажется, что ты и сама пьяна, так не смей перечить, дура этакая!.. Без вины виновата!
 - Слышу, батюшка, слышу!
 - То-то слышу!.. Смотри, попадешься в другой раз... да и теперь... кланяйся вот этому молодцу. Кабы не он упросил...
 - Ах, Господи! – вскричала старуха. – Да это никак... Ну, так и есть!.. Ах ты, мой ясный сокол!
 - Да, бабушка, это я. Поди-ка сюда на минутку. – Левшин отвел ее к стороне и сказал: – Ну что, Архиповна, чай, твои жильцы, соседи-то мои, больно перепугались?
 - Ах, батюшка! Каких страстей я-то натерпелась!.. Думаю, убьют у меня в доме человека.
 - А мои соседи что?
 - Ведь я тебя все у окна дождалась. Хотела сказать, что на дворе-то засада; кликала тебя, да ты, как шальной, так на двор и пробежал.
 - Не о том речь, Архиповна. Ты мне скажи, что мои соседи?..
 - Да что, батюшка, видно, больно переполошились: лишь только тебя со двора свели, так жилец-то мигом собрался...
 - Собрался!.. Куда?
 - А кто его знает! В дорогу, батюшка.
- Левшин побледнел.
- В дорогу! – повторил он. – Кто?.. Вот тот постоялец?
 - Ну да! У которого дочка-то жила рядом с тобой, в светелке. Батюшки, как заторопились!.. Запрягли две тройки, расплатились со мной, да и поминай как звали!
 - Так они уехали?
 - Уехали, батюшка.
 - Послушай, Архиповна: ты верно знаешь, кто такой этот проезжий?
 - Нет, родимый, видит Бог, не знаю!

– Да разве ты не могла спросить у работницы?
– Пыталась, да, видно, заказано: не говорит, да и только... На что, дескать, тебе, Архиповна, знать, кто твои жильцы? Платили бы они только исправно за постой.

– И ты не знаешь также, куда они поехали?

– Не ведаю, батюшка!.. Ну, прощенья просим, мой отец!.. Ох, скорей бы отсюда обратиться!.. Спасибо тебе, что ты меня, старуху, из беды выручил!.. Недаром, батюшка, говорится: «Язык мой, враг мой!» Эка я дура, подумаешь, пришла управы просить!.. Ну, дай Бог тебе доброго здоровья!.. Счастливо оставаться!

Вслед за старухой и ее работником вышли все из покоя, и Левшин остался по-прежнему один с подьяком, который принялся рассматривать с большим вниманием перстень. Он снял его с пальца, положил на ладонь, привесился и сказал вполголоса:

– Что за прах такой!.. Легок, больно легок!.. А кажись не дутый!.. Ну, молодец, поддел ты меня!.. Ведь перстень-то не золотой!..

– Мне, однако ж, давали за него пятнадцать рублей, – отвечал Левшин.

– Пятнадцать!.. Что больно много! Кабы мне дали за него пять, так я бы в ножки поклонился!.. Ну, да делать нечего: что с воза упало, то пропало!.. А только если он медный, так это, любезный, на твоей совести останется, ведь мы не жиды: нам грешно друг друга обманывать.

– Да кто тебя обманывает? – прервал с нетерпением Левшин. – Вольно ж тебе не верить!

– Ну, ну, не гневись! – молвил подьяк, принимаясь опять за письмо. – И то сказать: даровому коню в зубы не смотрят.

Левшин сел на скамью и предался снова своим грустным размышлениям. И так все кончено! Сбылись его предчувствия: она уехала из Москвы!.. Он навсегда расстался с нею... О, кончено навсегда... Где станет он искать ее?.. И в Москве не найдешь того, кого не знаешь по имени; а не Москве чета наша матушка святая Русь: широко она раскинулась; в ней одной полтрети всего мира Божьего, и, куда ни поедешь, везде люди живут.

«Нет! – думал Левшин. – Не судил мне Господь быть счастливым. Сиротой я живу – сиротой и умереть придется!.. Я знаю, Колобов сказал бы мне: “Что ты, брат! Разве одна звезда на небе светит? Мало ли красных девиц на Руси живет! Приглянулась тебе одна – погоди: приглянется другая!” Нет, коли не она моя суженая, так не обходить мне наложница в руку с сердечным другом, не меняться с ним кольцами!.. Видно, моя суженая-ряженая – мать сыра земля. Много звезд на небе... да, много – не перечтешь... да солнышко-то одно!.. И то слава Богу – поглядел я на нее, полюбовался... Ах, нет, нет! лучше б вовсе ее не видеть!..»

На дворе стало смеркаться; подьяк прибрал к стороне свои бумаги, вынул из поставца сулею с травником, ковригу хлеба, студень, горшок с гречневой кашей, накрыл стол ширинкою и расположился на нем ужинать вместе с огнищанином. Разумеется, он пригласил также и своего арестанта, но Левшин отказался. Когда подьяк и огнищанин опорожнили по несколько чарок травника, то у них пошла такая разгульная речь, побасенки, которые они принялись рассказывать друг другу, были до такой степени отвратительны и развратны, что Левшин не мог скрыть своего омерзения; он лег на лавку, повернулся к ним спиной и притворился спящим. Часа полтора продолжалась эта попытка, наконец полупьяные собеседники разошлись. Подьяк скинул с себя верхнее платье, пробормотал молитву, отвесил несколько земных поклонов – и лишь только повалился на скамью, то в ту же минуту заснул мертвым сном. Левшин не скоро последовал его примеру. Он также помолился – и, вероятно, молитва его была усерднее, но глаза его не смыкались почти всю ночь. Он заснул перед самым рассветом, или, лучше сказать, задремал, потому что этот сон не мешал ему слышать беспрестанный стук, похожий на работу плотников, которые что-то строили в близком расстоянии от Земского приказа.

VI

На восточной стороне небосклона начинали уже тухнуть звезды, но, увенчанный своими заборами, высокий Кремлевский холм был еще покрыт ночную тенью. Внизу, у его подошвы, как седое море, волновался утренний туман над обширным Замоскворечьем. Все было погружено в глубокий сон. Но вот темно-голубые небеса начинают становиться прозрачнее; вот осыпались искрами и засверкали кресты высоких колоколен; вот облились светом и позлащенные главы церквей: народ зашевелился по улицам. Москва проснулась.

Меж тем тревожный сон Левшина все еще продолжался; этот ночной стук, который он слышал в своем забытии, превратился в какой-то невнятный говор людей; потом началось громкое чтение, вслед за ним послышались стоны, плач и рыдания, а там как будто бы упало что-то тяжелое; раздался глухой вопль – и все затихло. Во все это время Левшин не спал, а находился в том полусознательном состоянии, когда мы сквозь сон слышим близкие к нам звуки и хотя не очень ясно, однако ж различаем окружающие нас предметы, но в то же самое время грезим и видим сны, в которых, разумеется, ложь и истина беспрестанно сменяют друг друга. Левшин слышал очень ясно этот разговор, чтение, плач и вопли; полузакрытым глазам его представлялись, как будто бы в тумане, низкие своды Земского приказа, его тяжелые стены, окно с железной решеткой; он видел лампаду, которая висела перед иконою – и меж тем ему казалось, что он стоит в церкви, где при тусклом свете погребальных свечей отпевают покойника; что священник читает разрешительную молитву; что родные и друзья усопшего лобызают его с плачем и рыданием; что вдруг тяжелая гробовая крышка с громким стуком падает на церковный помост – и среди общего мертвого молчания раздается удушливый вопль покойника. Он медленно подымается из гроба.

Левшин слышит вокруг себя какой-то непонятный шепот; все теснятся, спешат к церковным дверям, а он стоит, как прикованный, и не может пошевелиться ни одним членом. Вот тухнут все свечи, но вместо темноты разливается кругом кровавый свет, похожий на зарево отдаленного пожара; церковный помост начинает колебаться. По всем углам, вдоль стен, везде подымаются надгробные плиты, и сотни мертвецов в белых саванах начинают показываться из своих могил. Покойник окидывает бездушным ледяным взглядом всю церковь. Глаза его встречаются с глазами Левшина: он подымает свою иссохшую руку, указывает на него пальцем – и вот вся толпа мертвецов, заскрежетав зубами, бросается прямо к нему, один из них хватается его за грудь... Он вскрикивает, и в ту же самую минуту подле него раздается знакомый голос: «Что ты, что ты, молодец?.. Это я!»

Левшин очнулся и вскочил.

– Эк ты как заспался! – продолжал поддьяк. – Не прогневайся, раненко я тебя бужу, да делать нечего; меня – прах бы их взял – еще ранее твоего разбудили, а теперь-то самый лучший сон и есть!.. За тобой, молодец, пришли от князя Ивана Андреевича.

– От князя Хованского?

– Ну да! Там в прихожей дожидается тебя пятидесятник с двумя стрельцами! Пойдем, любезный!

Поддьяк сдал пятидесятнику своего арестанта и когда вышел вслед за ним на крыльцо, то сказал: «Взгляни-ка, брат, сюда, налево!» Левшин обернулся. Почти рядом с Земским приказом, на высоких подмостках, лежал труп человека, одетого в черное платье; подле, на окровавленной плахе, стояла отрубленная голова его. Это бледное, обезображенное лицо, на котором замерло судорожное выражение нестерпимой муки и отчаяния, было до того ужасно, что Левшин невольно отвернулся.

– Кто это? – спросил он вполголоса.

– Да вот этот расстрига, что так вчера храбрал, – отвечал поддьяк.

– Никита?

– Да! Никита Пустосвят.

«Боже мой! – подумал Левшин. – Давно ли этот мятежник, окруженный бесчисленной толпой народа, шел в Кремль, как торжествующий победитель, а теперь!.. Куда девались все его защитники?.. Он умер один – и труп его, выставленный на позор, брошен, покинут всеми!»

В самом деле, вся площадь была пуста; в нескольких шагах от места казни стояли вооруженные стрельцы; по временам останавливались прохожие и, взглянув издали на казненного преступника, продолжали спокойно идти своею дорогою. Один только нищий, в изорванном рубище, с распущенными по плечам волосами и непокрытой головой, стоял на подмостках подле казненного преступника; склонив над ним свою седую голову, он тихим голосом творил молитву, и слезы его капали на окровавленный труп. Этот нищий был Гриша.

– Ну, прощай, любезный! – сказал подьяк, облобызав Левшина. – Дай Господи, чтоб все кончилось благополучно!.. Жаль мне тебя – видит Бог, жаль!.. Парень ты добрый, а коли правду говорят, что ты изменник...

– Мне нечего бояться, – прервал Левшин, – совесть моя чиста.

– Совесть?.. Что совесть, любезный... Коли у тебя другой заступы нет, так дело-то плоховато!.. Конечно, Бог не без милости, – почем знать, может статься, пожалеют твою молодость... Только смотри, любезный, коли тебя не казнят, так не забудь, заверни опять сюда.

– Зачем?

– А вот зачем: ты говорил, что тебе давали за перстень пятнадцать рублей; ну, хочешь ли, друг сердечный... так и быть! Я тебе этот перстень за четырнадцать рублей уступлю?

– Хорошо, хорошо! – сказал Левшин, уходя вслед за своими провожатыми. Они вышли из Китай-города Каретными воротами и повернули налево.

– Куда вы меня ведете? – спросил Левшин.

– Куда велено, – отвечал пятидесятник.

– Да ведь, кажется, дом князя Ивана Андреевича Хованского не в этой стороне?

– Вестимо, не в этой. Он живет на Знаменке.

– Так мы идем не к нему?

– Нет.

– Куда же?

– А вот как придешь, так узнаешь.

Левшин замолчал. Дойдя до того места, где речка Неглинная впадает в Москву-реку, они повернули направо, и когда, миновав церковь Ильи Обыденного и Зачатьевский монастырь, переправились Крымским бродом на ту сторону реки, то Левшину нетрудно было догадаться, что его ведут к боярину Кириллу Андреевичу Буйносову: он жил недалеко от Калужских ворот и, вероятно, один из всех ближних бояр не имел дома в Кремле или, по крайней мере, в его окрестностях. Подходя к этим брусяным хоромам, которые стояли в глубине обширного двора, Левшин увидел, что у ворот дожидается дворецкий боярина Буйносова. Пятидесятник сдал ему с рук в руки Левшина и отправился со своими стрельцами в обратный путь.

– Милости просим, Дмитрий Афанасьевич! – сказал дворецкий, отпирая калитку. – Боярин давно уже тебя дожидается. Все твои пожитки, – продолжал он, идучи с Левшиным по двору, – перевезли сегодня к нам. Уж не изволь опасаться, батюшка: синего пороха не пропадет!.. У нас, слава Богу, кладовых довольно.

– Да это, кажется, Ферапонт? – спросил Левшин.

– Вон что там у конюшни держит двух оседланных коней?.. Да, батюшка, это твой служитель.

Войдя по широкому крыльцу в обширные сени, в которых толпились человек двадцать боярских холопов, дворецкий отворил двери в первый покой и сказал:

– Пожалуй сюда, батюшка! Я пойду доложу о тебе боярину, а ты побеседуй покамест с его милостью, – прибавил он, указывая на Колобова, который кинулся на шею к своему приятелю и закричал:

– Здравствуй, Дмитрий Афанасьевич! Ну, слава тебе, Господи! Не чаял я видеть тебя живым.

– И ты здесь, Артемий Никифорович?

– Как же! Ты помнишь, мы вчера с тобой уговорились прийти сюда попозднее вечером?.. Вот я этак в сумерки и отправился за тобой на Мещовское подворье; лишь только дошел до Зарядья, глядь – навстречу мне Архиповна бежит бегом, шушун нараспашку, – впопыхах. «Куда бабушка?» – «В Земский приказ». – «Зачем?» – «Управы просить!.. Душегубцы этикие! разбойники!.. кнutoбойцы!..» – «Да что такое?» – «Ограбили, батюшка, прибили до полусмерти моего Федотку!» – «Да кто?» – «А вот эти живодеры, кровопийцы, земские ярыжки!.. Ни за что ни про что изувечили у меня парня!.. Да его же, за то, что он кричал, в Земский приказ оттащили, воры этикие, висельники!..» – «А я, Архиповна, иду к тебе на подворье». – «Уж не к твоему ли крестовому братцу?» – «К нему». – «Ах, родной ты мой, да ведь его захватили стрельцы!» – «Как так? – «А вот как: пришли прежде его ко мне на подворье, засели по углам, и как твой крестовый братец вошел на двор – они его и цап-царап!» – «И увели с собой?» – «Увели, батюшка!.. Ну, уж перепугалась я!.. Экий денек! И стрельцы, и земские ярыжки!.. Да с ними-то я справлюсь! Слыханное ли дело: дневной грабеж!.. Нет, батюшка, я их доеду!.. Ударю на них челом боярину князю Львову; а коли он суда не даст, так я закричу “Слово и дело!” До царей дойду!.. Прощай, батюшка, прощай!» Я было хотел ее пораспросить хорошенько – куда! Моя старуха пустилась благим матом по улице, а я кинулся к боярину Кирилле Андреевичу, рассказал ему все; он отправился к князю Хованскому, а мне приказал перевести сюда все твои пожитки. Ну, брат Левшин, истинно Господь тебя помиловал! Вчера у нас в слободе один молодец, сотник полка Лопухина, сболтнул по-твоему, так его тут же уходили. Нет, брат, что Бог даст вперед, а теперь держи ухо востро!..

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.